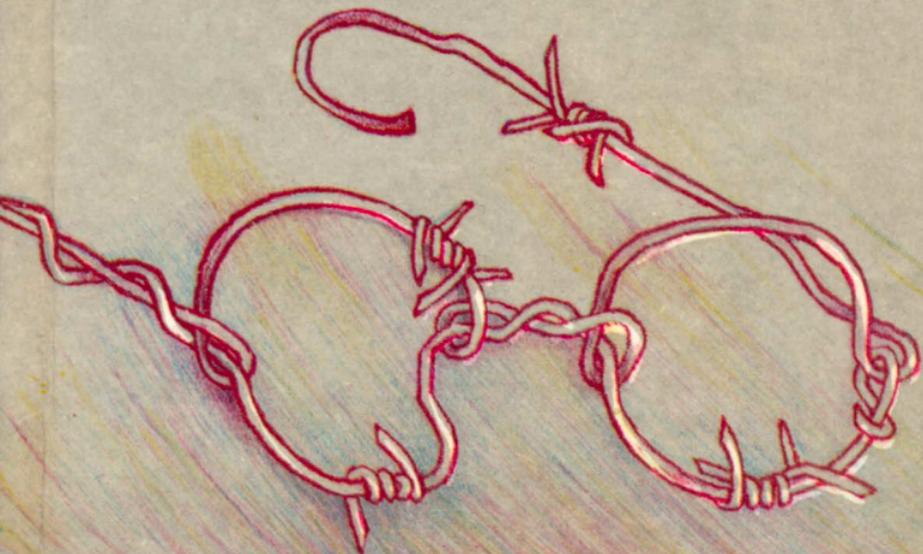


Сильва
Дарел

ВОРОБЕЙ НА СНЕГУ





A SPARROW IN THE SNOW

*A Russian Diary of Anne Frank
without the tragic ending*



SYLVA DAREL

EIN SPATZ IM SCHNEE

Sylva Darel



UN GORION EN SIBERIA



sylva darel

Sparven i snön Silva Darel



Сильва Дарел

ВОРОБЕЙ НА СНЕГУ

*Картины жизни
в четырёх действиях
с прологом и эпилогом*

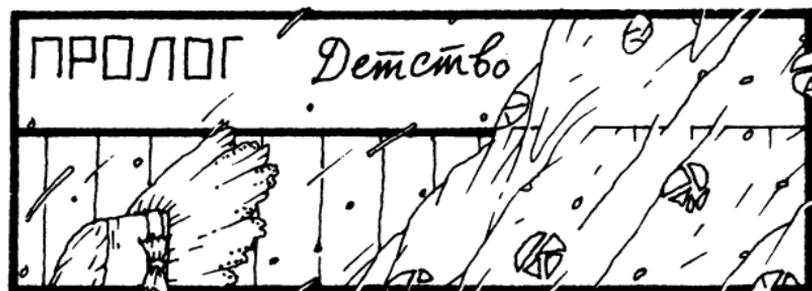
Ex Libris
Издательство
Советско - британского
совместного предприятия
СЛОВО/SLOVO
Москва
1992

**ББК 84Р6
Д20**

**Художник
ПЕТР ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ**

Д $\frac{4702010201-057}{М 128(03)-92}$ Без объявл.
ISBN 5-85050-311-0

© Сильва Дарел, 1992
© П. Ю. Перевезенцев,
оформление, 1992



По маминым словам, родилась я в каком-то роскошном заведении, «в клинике самого доктора Такого-то». Это говорилось весьма горделиво. Опять же со слов мамы, ее первым вопросом было:

— Кто?

— Девочка.

— Цела? Руки, ноги, голова есть?

— Все есть.

— Уф, дайте папиросу.

Оказывается, я пробилась на этот свет из чистого упрямства, вот ведь характерец у ребенка, ничем его не проймешь, против маминого желания появилась.

— Что я только ни делала! Теряла сознание в горячей ванне. Прыгала. Сначала со стула, потом стул на стол и опять прыгала, пила всякую гадость, опять прыгала, руки-ноги рисковала поломать, варилась в ванне. А ты, как пиявка, присосалась и — ни за что. Сколько я потом пережила, когда поняла, что уже ничего не поможет; все думала, что уродца на свет произведу. Но ничего, ребеночек

ты была очаровательный, только очень уж крикливая. Вечно голодная орала. Няня звонила мне в магазин и приносила к трубке тебя, вопящую, чтобы призвать меня к материнским обязанностям. Прибегала, кормила тебя, а через два часа то же самое: если и не голодная, то скучно тебе было. Ни на секунду нельзя было одну оставить, не то что сестру. Та была спокойная, тихая. Часами могла лежать под настольной лампой и шевелить ручкой бусины абажура: те позванивают, а она лежит и счастливо улыбается. От тебя бусами не отделаешься, тебя качай, пой, носи.

— Почему?

— Не знаю, такой уж характер. Худущая была; правда, очень забавная, но у меня времени не было тебя развлекать, потому, может, и злюка ты была; меня при кормежке куснуть норовила, пришлось на искусственное питание перевести. И заговорила ты рано, и зубы рано появились, и ходить рано начала. Ох и намучились с тобой.

Это я слышу всю жизнь. Всегда со мной мучаются. И было время, когда я серьезно думала: это скорей всего оттого, что меня так не хотели допустить в этот лучший из миров.

Мать качает меня на коленях, прокуренным голосом напевает что-то по-немецки. Мне уже лет девять, но меня иногда тянет на такие «телячьи нежности». Вот тогда-то я впервые узнала, что из упрямства даже на свет Божий можно пробиться... Это было в Сибири. В землянке нас жило четверо.

— Боже мой, а ведь могло случиться, что тебя бы вообще не было. Господи, как бы я жила без тебя?

— А как это меня могло бы не быть вообще, раз я уже есть?

— Да, но что я только не делала, чтоб тебя не было!

Конечно, я не поняла, почему почти кипящая ванна или прыжки со стола могли избавить мир от моего присутствия, но я верила маме, а она, в порыве любви и угрызений совести, обещает завтра у кого-то достать ложку какао и сварить его почти на чистом молоке. Господи, как хорошо, что ванна не помогла...

Родители мои были люди состоятельные: у отца был самый большой в городе галантерейный магазин, доля в каких-то фабриках, две двухэтажные дачи на Рижском взморье. И еще где-то что-то имелось.

Сестра старше меня на год, девять месяцев и семнадцать дней, и это принесло мне немало горя, пока я не сообразила, что успех зависит не только от старшинства.

У нас была добрая, очень славная няня. Но она не знала иностранных языков. А какой же интеллигентный буржуйский ребенок может жить без французского или хотя бы английского? Так появились гувернантки, «мадам».

Летом мы выезжали на дачу. Через лес — пять минут до моря. Мы его очень любили. Отсюда начинаются мои воспоминания.

«Мадам» требует от нас степенности. Нам положено ходить «за ручки». Но в лесу уйма соблазнов: черника, грибы, вереск, птицы, белки скачут, даже иногда ежи попадаются, и море сквозь деревья просвечивает. Какие «ручки»? И мы скачем, а нам выговаривают: девочки должны быть степенными и послушными.

Почему-то все наши гувернантки не любили мо-

ря: им было холодно. Нас же из воды было трудно вытащить. Так и вижу тонкую, в чулках и шляпе, фигуру, призывно аукающую на берегу, и тщетны напоминания о папе-маме, давно приехавших из города, и про остывающий обед, и слова про непослушание, что есть грех, и про отвратительных избалованных детей. Обычно мы вылезали из моря уже синие, в пупырышках. Нас растирали полотенцем, не очень почтительно одевали (я всегда норовила застрять головой и руками в платье) и, крепко зажав наши лапы, огромными шагами припрыгивали нас домой.

Иногда нас и вовсе не пускали к морю. Бонна выбирала в лесу полянку, стелила газету, потом старое покрывало, раздевалась и аккуратно раскладывала каждую вещичку; а уж ее голубые или кремовые комбине особенно любовно разглаживались и укладывались между газетой и покрывалом. Корсет от нас стыдливо прятался.

Мой первый грех и раскаяние: бонна любила свои комбине, а я не любила ее наставлений. Под покрывало засунута горсть черники... Она плакала, увидев огромные сиреневые пятна. Мне было очень жалко ее и стыдно. Дома меня отшлепали, но гувернантка ушла.

Гувернанток было много, но воспоминаний о них почти не осталось: все они бегали вдоль берега, проклинали холодную воду и противных детей и вечером жаловались маме.

В четыре года я пошла в детский сад, конечно французский, к мадам Шато. Сестра тогда же начала учиться в первом приготовительном классе французского лицея. К нам вернулась наша добрая старая няня. С ней мы говорим по-латышски, с ро-

дителями — по-немецки, между собой — по-французски. Иногда нас водили в кино, на «Микки-Мауса» и Шерли Темпл. Я больше любила зоопарк и цирк. В зоопарке обезьяны через решетку сорвали у меня с головы мою белую панамку вместе с клоком волос. Со страху я было заревела, но потом пришла в восторг. А в цирке мне очень хотелось, чтобы звери не делали того, что им велят, и чтоб они лучше выскочили к публике.

Летом на даче удовольствий было много, но кончались они частенько плачевно.

За нашей дачей был большой зеленый участок с деревьями. Там были сараи для садовой утвари, дров и угля для камина. В углу одного из сараев я обнаружила осиное гнездо. Повела сестру и двух соседских девочек. Разинув рты они смотрели, как я засовываю палку в центр этих смешных папирусов, ловко навернутых один на другой. Потом визжа мы выскочили из сарая, но осы вместе с нами ворвались в дом, кусали даже через платье и злобно гудели в волосах. Мне досталось больше всех, видно, осы знали, что палку я засовывала, да я ближе всех и к гнезду была. Я каталась по ковру и визжала, потом скулила от боли, когда меня отшлепали, и опять визжала, взглянув на себя в зеркало: нос, губы, веки, даже язык распухли.

За домом был фруктовый сад. Черешни созревали огромные, почти черные, очень сладкие. А про сливы считалось, что они поспели, когда их покрывал сизый такой налет, как туман. Налета еще не было, но я была уверена, что сливы готовы. Часа два мы с сестрой набивали ими животы, пока не почувствовали рези. Скоро мы уже подвывали от болей, но еще терпели. Потом мы уже ревели в голос. Из города примчалась мама с доктором.

Доктор сказал: дизентерия. Совершенно не помню болей, но хорошо помню, как мама долгое время не ездила на работу утром, два раза в день приходил доктор, мне разжимали челюсти и вливали касторку. Сестра поправилась недели через три. У меня была тяжелая форма, как сказал доктор. Мама, сидя около меня, иногда плакала, я ловила момент и просила не давать мне касторки и тертых яблок.

Умереть не дали, но исхудала я так, что сидеть было не на чем, одни косточки. На поправку меня выносили на террасу, складывали на кушетку. Как раз над кушеткой в углу террасы ласточки свили гнездо, и к моменту моего появления у них пищало там четыре голеньких птенчика. Какое же это было удовольствие их наблюдать: ласточки — мама и папа — с писком поочередно прилетали в угол, их дети, как по команде, вытягивали им навстречу тонюсенькие голые шейки с разинутыми клювиками, и те, ни разу не ошибаясь, как по расписанию, выдавали принесенное добро прямо в клювик очередному детенышу. Несколько раз птенцы падали из гнезда и суматошно скакали по моей кушетке. Я восторженно верещала и требовала дворника с лестницей, чтобы водворить падшего на место. Пачкать они тоже умели: как по команде, поворачивались в гнезде, выставляли куценькие хвостики, и чвирк — точка летела прямо мне на ноги. Весьма занимательно.

Сестра давно уже поправилась. А мне мама потом рассказывала, что я была «на грани смерти». Если это и в самом деле так, то это была, пожалуй, самая легкая грань, на которой мне пришлось побывать, ибо единственное дурное воспоминание — касторка.

В 39-м году мы вернулись со взморья раньше обычного, потому что и я пошла в школу, в тот же французский лицей, где училась сестра. Запомнился последний вечер на даче: в столовой около радиоприемника папа, мама и еще какие-то люди сидят с серьезными лицами, в напряженных позах. Играли гимны, английский, французский; мы их знали и стали подпевать, но взрослые шикнули. Папа многозначительно поднял брови и сложил губы трубочкой: война. Разговаривали тихо, мы тоже присмирели, а папа так и остался с того дня озабоченным, что-то прикидывал, рассчитывал, решал. И просчитался: опоздал.

У меня совершенно не стало свободного времени: учусь в школе, уже читаю и пишу (по-французски, конечно), пою песенки, тоже по-французски, кроме того учусь в балетной школе и музыке. В балете, говорят, есть способности и данные. В музыке — способности вроде есть, а данных маловато. Но какой же интеллигентный буржуйский ребенок не должен уметь играть «хотя бы Шопена»... До Шопена мои способности так и не доразвились, но собачий вальс костяшками пальцев я играла восхитительно. И когда конфисковали пианино, моим последним непреодоленным барьером была пьеса Бетховена «К Элизе». В балете я преуспела не многим больше, но все же дважды танцевала на сцене Оперного театра во «взрослом балете», где мы, ребяташки, больше путались у балерин под ногами, чем демонстрировали свое искусство.

Жили мы в большой шестикомнатной квартире на Школьной, напротив итальянского посольства. Под нами жил владелец дома, завзятый охотник. У него была собака, сука Тайга, сеттер, белый с ко-

ричевыми пятнами. Я узнала, что она оценилась, и, преодолев робость, позвонила к ним. Меня впустили на кухню: там пахло, как в зоопарке, и под огромным кухонным столом лежала красавица Тайга, а вокруг нее копошилось четыре совершенно сказочных щенка. Я забралась к ним и млела от счастья, когда Тайга мимоходом лизала и меня наравне со щенятами. Я очень озадачила своих родителей, когда им рассказали, с каким трудом меня отрывали от собак. Но я «заболела»: при любом удобном и неудобном случае канючила у родителей щенка. Они, бедняги, думали, что от меня можно отделаться обещаниями. А вот когда таковое было у них выужено, о, тут-то им и в голову не могло прийти, что их ждет.

— Купите щенка, буду хорошей девочкой,— обещаю я и верю себе.

— Буду прилежно заниматься музыкой, если подарите щенка,— обещаю, но вру.

— Все буду кушать, что дают, только купите щенка,— обещаю с сомнением.

— Не буду устраивать каждый вечер скандалов, когда отправляют спать, только подарите щенка,— клянусь.

Не думаю, что мои щедрые обещания производили на родителей сильное впечатление, но клятва о еде была все-таки убедительным доводом: яички я видеть не могла, при виде масла меня тошнило, супы я ненавидела, о кашах и говорить не приходится. Наказывали битьем. Экзекуция происходила следующим образом: очень любившая меня кухарка Анна хватала меня, извивающуюся и царапающуюся, укладывала к себе на колени, задирала подол, спускала штанишки и помахивала специально вымоченными в воде розгами, изредка касаясь ими моего зада. При каждом касании я утробно

стонала, закатывала глаза, норовила укусить Анну. Но это не помогало, а вот щенка бы...

И вот первое полноценное ощущение настоящего огромного счастья. Мы пришли из школы, а он нас ждал: спаниель. Маленький, золотисто-коричневый, шелковистый, с длиннющими, до полу, ушами и такой милой мордой, что уж и не знаю, кто кого больше лизал...

Бедные родители! Какая уж тут еда, какое спанье, какие уроки! Мне кажется, я обезумела от счастья, даже ревность познала, когда Шерри (так мы его назвали) больше лизал сестру. И родители растерялись. Попытались загнать нас спать, но как только дверь за ними закрылась, Шерри начинал скулить в коридоре и ковылял к нашей двери. То сестра, то я, в длинных ночных рубашках, крадучись выбирались в коридор и приносили Шерри в кровать. В коридоре были лужи, в кровати тоже было мокро. Но Шерри под одеялом сразу же затихал, и мы, счастливые, лизались. Тишина настораживала родителей, Шерри обнаруживался и выдворялся. Всю ночь мы не спали, всю ночь слышалось шипение: «Шерри, Шерри» — и жалобный скулеж нашего любимца. Утром родители были серьезные и сердитые. Сестру с трудом отправили в школу, меня не удалось: я закатывала глаза, хрипела, кашляла, делала вид, что горло болит, и — о счастье! — у меня оказалась температура. То был очень счастливый день, мы его провели вдвоем с Шерри. Я качала Шерри «на ручках» и пела ему колыбельную по-латышски: «Айя жужу, лачу бери»*. И я ела, чтобы показать Шерри, как хорошие дети умеют кушать, потому что он не хотел лакать молоко из блюдечка. Родители и вечером были серь-

* Баю, баю, медвежата (латышск.).

езные и сердитые. А ночью повторилось то же самое: наше шипение и его плач. И повсюду лужи, и кровати мокрые. Наутро мне не стали мерить температуру и без разговоров отправили в школу. С трудом дождалась конца уроков, а когда пришла домой — не нашла Шерри, он исчез. Было пусто и тихо. Ощущение первого огромного горя, настоящего горя. Убрали все, что напомнило бы Шерри, и подстилочку, и блюдечко, и корзинку, но остался запах, такой теплый запах, что я выла тихонечко и горько-горько и всем своим трясущимся телом ощущала шелковистое тепло и мокрый нос Шерри.

И снова взморье, в последний раз. Ибо «скоро будет очень плохо». Это мы уловили из озабоченного разговора взрослых. Только и говорили о «красных», что въехали в город на танках с красными флагами, а назвали это «протянуть руку дружбы и помощи». Отец осунулся, часто приезжал из города днем, иногда вообще не уезжал. Лежал с мокрой тряпкой на лбу, страдая от мигреней. И пил соду от изжоги.

Мама возвращалась вечером из города озабоченная. Отец вскидывался ей навстречу; она что-то обстоятельно ему объясняла, он выражал недовольство. От нас отмахивались. И вообще в то лето мы были предоставлены самим себе, даже к морю бегали одни. Вечерами нас рано загоняли спать; почти никто из прежних соседей не снял в этом году у нас дачу: пойти нам было некуда. В город мы вернулись раньше обычного.

Тревога взрослых передалась и нам. Мы узнали, что у отца конфисковали магазин, что его сначала хотели было оставить там работать, но потом изгнали окончательно; что мама работает продавщицей

в отделе конфекциона; что от отца требуют уплаты какого-то огромного налога, а он отказывается. Родители при нас разговаривали по-русски, чтоб мы не понимали; чаще они шептались, и вообще в последнее время в доме больше шептались, даже с друзьями, даже по телефону.

В лицее тоже чувствовались перемены: перестали утром в актовом зале исполнять гимны — латышский, французский, английский. Просто без всяких церемоний начинались занятия. И было меньше французского, больше латышского, а в старших классах ввели русский.

Была весна 1941 года. Однажды вернувшись из школы, мы застали во дворе дома плачущую маму, у черной лестницы — грузовик. Какие-то дядьки протаскивали в дверь пианино. Наше. И грузовик был полон нашей мебелью. У мамы по щекам катились слезинки. Она гладила сестру и меня по голове, а мы стояли притихшие, ничего, впрочем, не понимая... Это называлось конфискация имущества.

А вскоре пришла та ночь, с 13 на 14 июня 1941 года, когда раздался громкий, длинный, очень страшный звонок. И в неполных восемь лет кончилось детство.

ДЕЙСТВИЕ I

Сибирь



Ошалело смотрим друг на друга. Расширенные глаза сестры. А звонок все надрывается, громко и страшно. Забегали. Потом чужие голоса. И папин голос, убеждающий, уверенный. Мы сидим в кроватях. Страшно. Пришла очень бледная мама, велела одеваться. Мы ее ни о чем не спрашивали. Она открывала и закрывала зачем-то шкаф, достала наши школьные портфели. Несколько чужих мужчин зашли к нам в детскую, что-то искали, даже книги листали. Один тихо сказал маме по-латышски: взять побольше теплых вещей — и одеяла теплые, и для детей зимние пальто. Мама всплеснула руками, ахнула: «Куда же нас и так надолго?», но ей не ответили. Она аккуратно сложила один чемодан, потом второй. Сложила наши красивые бордовые зимние пальто, приготовила большой узел с одеялами и подушками. А папа все говорил, говорил, но уже не вполне убедительно, больше просил, размахивал руками, заглядывал тем чужим в лица, даже улыбался. Он очень просил кому-то позвонить, в чем-то убедиться, но ему сказали, что телефон отключен. Потом и он бросился собирать вещи. Очень аккуратно стал складывать свои рубашки,

снял с вешалок несколько костюмов, походил с ними по комнате, повесил обратно в шкаф. Стал сгребать галстуки, много-много положил в чемодан. Мама недовольно проворчала, но положила на галстуки столовое серебро, всего по шесть штук. Папа принес несколько пар подтяжек и носовых платков с инициалами. А мы набили свои школьные портфели французскими книжками.

Потом нас повели по лестнице: оказывается, на сборы полагалось два часа. Внизу стоял грузовик, на узлах и чемоданах сидели испуганные люди. Погрузились и мы. Поехали. По всему городу попадались машины. Грузеные шли в одном направлении. Подъехали к железнодорожным путям, там стояло много товарных вагонов. Выгрузили вещи, ссадили людей, стали загонять всех в вагоны. Вагоны совсем не такие, в каких мы ездили на дачу, да и поезд был длиннющий, и паровоза не было. Снаружи вагоны красные, посередине — раздвижные двери с засовом, нет подножки, а забираться высоко приходится. И посреди вагона в полу дырка.

Папа нашел нам место на настроенных по всему вагону в два этажа дощатых полках. Велел спать. Куда там спать! Было очень интересно и нисколько не страшно: в вагоне были дети и поменьше нас, были даже такие крошечные, что мамы держали их завернутыми в пеленки — я таких крошек еще никогда не видела. Папа устроился у одного из четырех маленьких окошек и вел наблюдение. Иногда он вдруг вскидывался, кричал кому-то по-русски, оттуда отвечали, он просил, убеждал, но, видно, без успеха, сникал и махал рукой. Он все что-то высматривал.

На второй день мамина приятельница принесла нам небольшой узел с постельным бельем и немного еды. Теперь уже и мама очень громко что-то ста-

ралась ей втолковать и сердито отмахивалась от папы, когда он ее перебивал. На третий день мы все еще стояли на том же месте. Но днем вдруг раздвинулись двери, и позвали маму. Она вернулась очень взволнованная, сказала, что она доказала свое пролетарское происхождение, что она — рабочий человек, а не буржуйка или другой опасный человек, и поэтому ей с детьми разрешают остаться. Но она отказалась, потому что боится оставаться одна с детьми, и уж раз в ссылку, то все вместе.

Повезли нас в четвертую ночь. Все эти три дня и три ночи машины подвозили людей с узлами и чемоданами. Впервые я узнала, что такое хочется есть. Мы с сестрой обе ныли от голода. Но нам принесли поесть только один раз. Вдоль поездов все время бегали люди, выкрикивали имена, искали друг друга, плакали. Поездов было очень много, они стояли в несколько длинных рядов.

Ехать было интересно. Народу в вагоне много, каждый что-то свое делает. Иногда поезд останавливался, гремел засов, раздвигались двери. Подбегали женщины, продавали всякую еду. Отец торговался, покупал, мы заглатывали. Все казалось невероятно вкусным. Нам дали ведро под кипяток, нашлось несколько стаканов, отец на остановках бегал за кипятком. И вообще он распорядился в вагоне.

А уборной не было. Дыркой в полу разрешалось пользоваться, только когда поезд шел. Охрана очень ругалась, когда на стоянках пользовались; стояли же мы по многу часов. Я стеснялась, но мама загораживала меня простыней.

Кончилась Латвия, поехали по России. Уже не приносили к вагону жареных цыплят и пирогов

с мясом. Выглядело все беднее, кривее, не было ярких цветов в садах, и палисадники покрашены не такими яркими красками.

Какие-то люди в сопровождении солдат стали подносить и продавать у поезда ящики с консервными банками. Написано на них было по-русски. Во всем вагоне, кроме папы и мамы, никто по-русски не понимал, а кругом только по-русски теперь разговаривали. Отец, видно, поэтому и стал старостой в вагоне; он закупал на всех, жаловался за всех, просил.

Вдруг стали нам навстречу попадаться воинские эшелоны. Солдаты сидели в открытых теплушках, свесив ноги, пели под гармошку, махали руками стоящим на перронах. Из-за них мы простаивали по нескольку часов. А потом вдруг узнали, что несколько дней назад, 22 июня утром, началась война, Гитлер напал. Отец страшно разволновался, приставал к солдатам-сопровождающим с вопросами, те только отмахивались, тоже очень озабоченные. Узнал он только, что окружным путем мы проехали Москву, что везут нас за Урал.

Нас, детей, заботил только голод, в остальном все было чудесно. Поезд иногда останавливался посреди поля, гремели засовы, ребяташки выпрыгивали первые и неслись собирать цветы, купаться, если виднелась мало-мальски подходящая лужа, визжали от радости. Подножек у вагона не было, и я однажды, просчитавшись, покатила под откос высокой насыпи. Руки, ноги и лицо немного поцарапала да преглубоко рассекла колено, даже что-то белое проглядывало сквозь кровь. Мама пришла в ужас, папа тоже заволновался, стал просить доктора, но солдаты посмеялись, а один посоветовал сажей смазать вместо йода. Папа пошел к машинисту, и мне помазали коленку сажей. Я поскулила

на всякий случай, чтоб не ругали за приткось, и коленка быстро зажила, только шрам черный остался, и сейчас еще виден.

Учились мы русскому в дороге. Первое слово было «бички»: это я не могла произнести букву «ы», не было таковой во всех знакомых языках. Консервы приносили такие — «бычки в томате». Потом появилось «молёко», тоже из-за отсутствия твердых «л» в знакомых языках. Иногда солдаты с нами заговаривали. Мы потом расспрашивали родителей, но те часто не знали, как и разъяснить тот солдатский лексикон.

Вторая сташная ночь: загремели засовы. Мы в страхе проснулись. Слышались крики, ругань. Поезд стоял. В проеме двери появился офицер и прокричал:

— Мужчины — выходи!

К нему бросился мой отец:

— Почему только мужчины?

— Отставить разговоры, сказано, мужчины — выходи!

— А у нас нет мужчин, женщины только да детки малые, старики еще, я вот один за всеми ухаживаю, больных много, умирающие есть.

Офицер, видимо, не верил, но проверять было лень. Посветил фонариком, с нар и в самом деле торчали ребячьи головы, да женщины в ужасе замерли.

— Закрывай, черт с ними.

Из всего длиннющего состава только в нашем вагоне осталось несколько мужчин. Отец гордо поглядывал и бодро распоряжался. Оказывается, мужчин собрали уже с нескольких эшелонов, пересадили в другие и отправили по разным лагерям в Коми АССР, в район Печоры, в Соликамск и даже в Казахстан. Немногие из них в живых остались.

Через много лет в Сибири их жены и дети узнали, как быстро умирали их мужчины от голода и морозов...

В вагоне шептались о войне, о том, что вот ведь неудача, недели всего до свободы не дотянули, а сколько горя хлебнули, и что еще впереди? А так жили бы себе в Риге, она уже давно в руках немцев, как-нибудь уж поладили бы с ними.

Погода стояла в то лето прекрасная, я ни единого дождика не помню. Ехали мы уже третий месяц. Была середина августа.

И опять однажды ночью:

— Из вагонов с вещами — выходи!

Гремят засовы, раздвигается дверь:

— С вещами — выходи!

Отец бросается к солдатам:

— Да как же это, куда же ночью-то, темно, у нас детки маленькие, больные, спят люди.

— Прекратить разговоры. Сказано — выходи.

— Да где мы? Что вы собираетесь делать?

Мама дрожала, дети расплакались. Взрослые думали, что будут расстреливать...

Выгрузились в ночь. Нигде ни огонька. Спустились с насыпи и тут же сели на своих узлах и чемоданах. Было холодно. Я полязгивала зубами и тихонечко со страху поскуливала. Отец завернул меня в одеяло и взял на колени. Утром было смешно: сидят, лежат, ходят люди, очень много людей, но ни одного дома, вообще кругом, кроме насыпи и рельсов, ничегошеньки, чистое поле, и повсюду люди, люди, люди... Табор. Ни еды, ни питья, ни огня, ни жилья, но трава такая зеленая, цветы красивые, бабочки, солнце светит вовсю, тепло, хорошо, никто не заставляет упражняться на пианино,

никто ничего не делает, можно слоняться по всему табору. Красота!

Прошел день, прошла ночь. Взрослые были в растерянности:

— Сколько же мы будем сидеть под открытым небом? Надо что-то делать.

— А что, если пойдет дождь, у меня даже зонтика нет.

— Совсем не так холодно в этой страшной Сибири.

— Подождите, только август.

Отец, поджав губы, что-то обдумывал. На нас никто не обращал внимания. Мы обнаружили озеро и до посинения в нем купались.

Но на второй день в нашу сторону потянулись подводы. «Разбирают по колхозам». Колхозники оставляли лошадей поодаль, сами же ходили по всему нашему табору, присматривались, что-то обсуждая, оценивая барахло и состав семей. Сразу отходили, когда обнаруживали стариков и маленьких детей.

До нас долго не доходила очередь. Мы ночевали в поле еще одну ночь. Но были уже кипяток и еда. И на ночь отец соорудил что-то вроде шалаша. Встретили знакомых. Мама даже свою лучшую подружку нашла: она в другом эшелоне ехала. Мужа ее забрали. Вообще в их эшелоне ни одного мужчины не осталось, счастье, что сыну ее всего 14 лет. Они перебрались к нам.

Дошла и до нас очередь: отец засуетился, пустился в расспросы про колхоз, завел переговоры, мать дергала его за рукав, чтоб скорей соглашался, а не набивал цену, будто не рад, что с двумя дармоедами его берут.

Дорога шла по полям, лесам, мимо озер; солнце светит, птицы поют, шишки невиданные валются,

кузнечики трещат, летают стрекозы. Мы резвились, как щенки. От нас требовали — не отставать!

В лесу темнело быстро, становилось страшно. Я просилась «на ручки» к отцу. Но он, хоть и очень, видно, устал вышагивать в своих городских ботинках, все же на телегу не присаживался, глядя на колхозников. Те шагали за телегой целый день, только на ходу взбираясь, чтоб поесть. Бабы жалостливо на меня поглядывали, разворачивая свои узелки. Может, и я жалобно на них смотрела, не помню, но лепешек мне давали больше, чем другим, я была самая маленькая.

На следующий день мы прибыли в деревню Александро-Ершу, Дзержинского района, Красноярского края. Нашу семью и мамину подругу с сыном пустила к себе очень славная женщина. Она сразу же сварила котел горохового супа со шкварками и дала вкусного деревенского хлеба.

Нас ни дети, ни взрослые не понимали. Часто смеялись, когда мы с сестрой на смеси трех языков с помощью рук, ног и мимики что-то старались рассказать деревенским ребятишкам.

Отец ненадолго исчез, а вернувшись, объявил, что нашел «прекрасное место — настоящий рай» и нечего рассиживаться, завтра утром поедem в другой колхоз.

Раем на земле оказался колхоз «Мокрый Ельник», куда мы добрались к вечеру. Ввалились к тетке Насте Барловской, с которой отец заранее договорился. Спали на полу, все в ряд. Утром проснулись — изба полна народу: стояли, прислонившись к стенам, прямо над нами, скорчившимися на полу, сидели на пороге и у печки, глазели бабы, девки, даже несколько мужиков, в полном молчании. Мама ерзала под одеялом, видно, хотела встать, но

стеснялась показаться в ночной рубашке, папа изображал улыбку, но тоже смущенную. Мы же выскочили «на люди» в своих длинных, до пят, ночных рубашках. О! Что тут началось: заговорили, загоготали, как гуси, тыча в нас пальцами, хватая нас, ощупывая наши рубашки. Что-то спрашивали, но мы, ничего не понимая, дрыгались в руках у баб. Мама попросила мужиков отвернуться, те поняли и деликатно вышли. При виде маминой рубашки изумление сразило публику окончательно:

— Господи, уж такое-то платьё могла б на ночь-то снять...

— Во живуть же где-то люди...

— И пошто приехали в грязь да нищету нашу?

— Богатые, видать, а вещичек не густо...

— Детишки-то худые, не гляди, что в шелку спясть...

— Глянь, глянь, на ей-то кольцо венчальное...

— Ой, лишенько мне, и на ём, и на ём...

— А ручки-то у ей белые, не задубелые, пальчики тоненькие...

— Такими ручками трудодней не загребешь. С чего жить-то будут?..

— А ты больно жирно с трудодней живешь...

— Так у меня корова, да и на огороде, поди, не одна полынь растеть...

— Ох, набедуются, горемычные, намаются с детьми малыми. Они вроде и говорят промеж себя не по-нашему?

— Сами-то — по-нашему, детишки вроде бы нет. Сам-то приходил уже, с теткой Настей договаривался.

Тетки склонялись к нашему лежищу, щупали одеяла, которые мама постелила на пол вместо матраса, мяли пальцами простыни, чмокали губами в восхищении, обсуждая что-то между собой.

Папа надел брюки под одеялом, бодро так вылез и стал знакомиться.

Прежняя деревня Александро-Ерша была великаном в сравнении с этим Мокрым Ельником: тут всего было изб пятьдесят. Одна из них, чуть побольше других,— школа в конце деревни. Недалеко от нас правление колхоза.

До начала занятий в школе оставалось несколько дней. Мама повела нас в школу, познакомила с очень красивой учительницей, и нас записали. Но произошла ошибка: когда маму спросили, сколько лет я уже проучилась, она сказала, что год всего. Вот меня и записали во второй класс. А я-то училась только в подготовительном. Но там не знали, что это такое. И поэтому, когда я 1 сентября пришла в школу, все дети были, во-первых, старше меня, а во-вторых, они уже умели читать, писать и песни петь. А я почти ничего не понимала по-русски.

Тогда я еще плакала. Мама учила нас дома азбуке и разговаривала с нами только по-русски. Месяца через два мы уже ничем не отличались от деревенских ребятишек. Пошли сплошные пятерки. Тогда мама решила, что и французский не следует забывать. Как же она ахнула, когда поняла, что все забыто: ни читать, ни писать уже не можем, только песенки да стишки застряли в голове (и по сей день): «Же дю бон таба дан ма табатьере...» Что-то про нос и табак... И еще — вроде этого.

У тетки Насти мы прожили всего месяц, потом колхоз отвел нам избу во дворе колхозной конюшни: комната с большой русской печью и сени. Держали в этой конюшне только жеребят. То было

очень счастливое для меня время: утром приходил конюх, кормил и поил жеребят, и когда я, полусонная, выползала на порог, вся эта жеребятня скакала по двору, задрав хвосты. И я с ними. Самые маленькие меня очень любили, постарше иногда кусали и норовили поддаться под зад, но в общем за дело: я пыталась кататься верхом.

Колхоз дал нам дров, так что, когда наступили холода, дома было очень уютно. Родители работали в колхозе, в поле. Но еды за это не давали: насчитывали трудодни, за которые к концу года должны что-то выдать («Если не все отнимут», — озабоченно объясняли колхозники).

Папа, в брюках с подтяжками, в рубашке с галстуком, но без пиджака, мама, в шелковом платье и в туфлях на высоких каблуках, рано утром выходили в поле. Папа работал на току, у молотилки, мама серпом жала хлеба, вязала снопы, ставила в стога, грузила снопы на телеги. Серпом она резала себе ноги, снопы ее разваливались, даже от обыкновенных грабель у нее вскакивали волдыри на руках, и чулки рвались, и платье цеплялось, и в туфлях на высоких каблуках было очень неудобно работать. Стало намного легче, когда кто-то из колхозников принес нам лапти. Особенно миленькими были мои лапоточки, потому что я вместо веревочек привязывала их ленточками для кос.

Стали выменивать вещи на муку, картошку, молоко. Скоро вечерами под окнами нашей избы девки плясали под гармошку в маминых длиннющих розовых ночных рубашках, в сапогах и косынках, повязанных по самые брови. Мама испытывала страшную неловкость:

— Я им говорила, что это не платье. Но они не поверили. А теперь я должна мучиться, глядя на это.

— Мамочка, но это очень красиво, и пляшут красиво, и поют красиво.

— И нечего тебе мучиться, — утешал папа. — Если сама Гризодубова могла выйти из магазина в ночной рубашке и не стесняться в таком виде ходить по Риге, так для колхоза это вполне прилично. Жалко, что у тебя нет больше ночных рубашек, за них больше всего муки дали.

С колхозом нам вообще повезло, люди были очень хорошие, к нам тоже относились хорошо. С самого начала бабы приходили к нам вечерами посидеть, приносили то буханку хлеба, то крынку молока, а иногда ведерко свежей картошки; подарили нам семилинейную лампу, объяснили, как пользоваться. Бабы обучали маму:

— Ты печки не бойся, не совайся головой-то в нутро, помелом да кочергой учись. И ухватами работай, а не руками хватай чугунок, они долго не простывают. Чугун добрый, старый.

Кто-то подарил и квашню, научили ставить тесто и его месить:

— Ничего, ничего, что со лба каплет. Вот как жопа взмокнет — считай, что замесила.

Но мама выбивалась из сил, видимо, раньше, чем жопа успевала взмокнуть, и сердобольные бабы домешивали тесто, и мокрым помелом чистили под печи, и капустные листья приносили, что под буханки подкладывались, и учили всяким приметам, по которым можно определить, испекся ли хлеб.

Долго потешались бабы над матерью после того, как она, в ужасе заглянув в колодец, спросила:

— А как же я оттуда вылезу? — она думала, что воду достают, спустившись в колодец.

Мы с сестрой покрылись чирьями. Сначала думали, что это от комаров (комары и мошка ели нас беспощадно). Мама даже ругала нас, полагая, что мы так расчесываем укусы. Но потом, увидев здоровенные гнойные блямбы, испугалась. Чирьи болели, чесались, в общем, здорово мешали жить. Они подолгу не сходили, да еще оставляли препротивный след, если их сколупнешь. У меня под коленом до сих пор ямка видна от тех чирьев.

Потом появились вши. Мать не знала, что это вши, но рассказала кому-то из деревенских, что дети, мол, чешутся, особенно по ночам, и что в швах ночных рубашек она обнаружила каких-то странных насекомых — может, это они кусают?

Жалостливо так — мать потом рассказывала со смехом — посмотрела на нее баба:

— Вши это, сердешная, вши. Не от хорошей жизни они. И в головах, говоришь, чешутся? Учись «искаться» — бери нож, ищи и бей. И гнид скобли, не оставляй, из них вши выводятся.

— А где же я такой специальный нож возьму?

— Обнаковенным, все деревенские так ищутся. Всех не перебьешь, но чесаться меньше будет.

Нож у нас был один, подаренный. Серебряный мать берегла для продажи. Но ничего, привыкла тем же ножом в головах у нас работать, жизнь заставила.

Война дала о себе знать уже в конце сентября: в колхоз пришла первая похоронка. Почти в каждой семье кто-то был на фронте, а вся деревня к тому же состояла в родстве. Казалось,

что голосит разом вся деревня. С нетерпением и страхом ждали почтальона. И не раз видели мы, как, воя, заламывая руки, спотыкаясь, бежали бабы с поля, услышав страшную весть.

О положении на фронте узнавали из скудных сообщений районной газетки в один небольшой листок, «Дзержинский рабочий». Иногда с опозданием на месяц поступала в правление центральная «Правда». Радио не было. Почти поголовно было неграмотным оставшееся в деревне взрослое население. Собирались при керосиновой лампе в правлении, и отец читал вслух газету.

Иногда к нам заходил председатель колхоза — инвалид Ситников с женой. Тоже обсуждали положение на фронте, но тут позволительны были сомнения и страхи. И вопросы. Я помню, как они выпрашивали отца, что же это делается, если можно прийти ночью в чужой дом, ни в чем не согрешивших людей с малыми ребятами вырвать из жизни, сослать к ним сюда, в их нищую дыру, где у нас ни кола ни двора — ни городские, ни колхозные. Я помню ужас на их лицах, когда отец рассказывал, сколько эшелонов со ссыльными стояло на путях.

В октябре выпал первый снег, пушистый, чистый, он так и не таял и очень украсил деревню. Дома было тепло, уютно. Мама понемногу наловчилась топить печку. Хлеб у нее все чаще поднимался, как положено у доброй хозяйки. У нас появились валенки, шали, половичок на пол, и у входа всегда лежал веник — обметать снег с валенок.

Я забыла упомянуть наше животное: Юки. Я прихватила ее из Александро-Ерши, нашего первого колхоза. За несколько дней там я пла-

менно успела полюбить серенького пушистенького веселенького котеныша.. Когда папа нашел наш теперешний Мокрый Ельник — «рай на земле» — и я заикнулась о том, что надо взять с собой котенка, меня только отругали.

Выехали мы тогда рано утром, а к обеду карман плащика, да и весь бок отсырели: пришлось достать котенка из кармана и сушиться. Даже лошадь остановили, чтобы обсудить положение: папа вращал свирепо глазами, мама верещала, но оба они не выдержали: видно, смешно было смотреть на мой набычившийся вид и лохматый комочек с тоненьким мокрым хвостом. Мы с Юки победили.

Опять к нам пришли ночью. Стучали очень громко, видно, сапогами. Слышались мужские голоса. Отец долго чиркал спичками, спросонья не мог найти фитиль у лампы. Я в ужасе слышала свое сердце — громкое-громкое. Ввалилось трое чужих и председатель колхоза.

— Имя, фамилия, отчество, год рождения.

Отец ответил. И быстро-быстро заговорил, заобъяснял, замахал руками.

— Прекратить разговоры. Вы арестованы. Приступайте к обыску.

Двое потрошили наши соломенные матрасы и подушки, копались в чемоданах, даже из наших портфелей все повыбрасывали.

Но папа не мог молчать: «Это ошибка, товарищ дорогой, это ошибка, такого не может быть, человек работает в колхозе, честным трудом заработал трудовни, получил зерно, дрова, картошку, у него и жена самоотверженно трудилась на колхозных полях, вот деточки малень-

кие, не может же он их оставить, пропадут же они».

— Молчать! Личное имущество — на стол, подлежит конфискации.

Изба за ночь выстыла. Мама одела нас в пальто, сама стояла, всхлипывая, прижимая нас к себе. Мы тоже начали хлюпать носами. Председатель колхоза стоял, не шелохнувшись, у двери, не поднимая глаз.

Папа оделся, взял белье, зубную щетку, кусочек хлеба, все завязывал и развязывал узелок, будто от этого зависело что-то, руки его тряслись. Он посмотрел на нас, глаза были мокрые, губы дрожали, подбородок прыгал. Когда пришла моя очередь поцеловать его на прощание, я повисла у него на шее и стала кричать: «Папочка, не уходи, как же мы жить без тебя будем», и мама и сестра тоже начали вдруг громко плакать, и отец тоже. Но меня оторвали, а отца вытолкали за дверь.

Мы тогда просидели рядом с матерью всю ту страшную ночь 2 января 1942 года, жалкие, на-смерть перепуганные, ничего не понимающие...

Как я потеряла веру в Бога.



Сижу на печке. Печка занимает пол-избы. Изба — одна комната, даже сеней нет. В избе живем мы, наша хозяйка и теленок. Нас трое: мама, сестра и я. Хозяйку зовут баба Хима. Теленок живет с нами, потому что он только что родился, а у бабы Химы хлева своего нет, ее корова у кого-то в деревне ночует.

Очень смешно смотреть на теленка: он в папиных галстуках. Когда он родился и его принесли домой, он лежал, а потом встал на тоненькие ножки, покачался и стал разгуливать по всей избе. У бабы Химы не нашлось веревки привязать его. Мама связала несколько папиных галстуков, обвязала их вокруг теленкиной шеи и привязала его за гвоздь. Так он и лежит сейчас, в галстуках, очень смешно.

А я сижу на печке. Передо мной стоит большая желтая деревянная коробка, круглая, с крышкой. Мама сказала, что в этой коробке она когда-то возила свои шляпы. Сейчас в коробке целое сокровище: шесть хлебцев. Они, правда, не поднялись. «Разве это мука», — сказала мама, но это и не важно, все равно вкусно.

Мама уехала на два дня: выяснять, где папа и что с ним. Сестра бегаёт на улице, а я вот захотела посидеть на печке. Меня не видно, лежанка отгорожена старой бабы-Химиной занавеской. Я сижу тихо-тихо и думаю: «Шесть хлебцев. Было четырнадцать. Вчера мы съели шесть, сегодня утром два. Скоро придет сестра, и мы съедим еще по одному, а когда вечером вернется мама, мы дадим ей сразу два, а сами по одному съедим. Мама будет очень довольна, а то мы — как саранча, все поедаем, ей ничего не оставляем...»

Я наказание, а не ребенок. Раньше, зимой, мы не у бабы Химы жили, а в колхозной избе: нам ее дали, потому что у нас был папа, а он — мужчина, работник. А когда папу забрали, колхоз отобрал у нас избу. Баба Хима пустила нас к себе за деньги. Когда меня кусали и лягали жеребята в том колхозном дворе или когда я разбиваю себе нос или коленки, мама всегда охает и говорит, что я наказание, а не ребенок. Она это часто говорит.

Это я так думаю, сидя на печке. Очень тихо, только теленок вдруг шумно сопит, как вздыхает. А потом я думаю о Боге. О Боге я знаю, что Он все может. И я думаю, что если бы я была Богом, то сделала бы из шести хлебцев, ну, скажем, десять и сварила бы еще картошки, хотя бы в мундире. Потом я становлюсь такой щедрой, что прибавляю еще кусочек селедки и сметаны. Много вкусных вещей я вспоминаю. А когда-то я не хотела их есть, меня даже били, чтоб заставить кушать, а я плакала и маму до слез доводила. Мама говорит, что если бы я тогда ела, как человек, а не капризничала, то и сейчас не была бы такой всегда голодной. И приводила в пример какое-то животное, то ли верблюда, то ли еще ко-

го-то, кажется змею, которые очень долго переваривают пищу и не просят постоянно кушать.

Я понимаю, что Бог очень занят: у Него много бедных людей, и идет война, Он помогает разбивать фашистов, да мало ли у Бога дел, о которых я не знаю, потому что еще маленькая. Вырасту, все знать буду. Но все равно, Бога я и сейчас люблю, и я Его никогда не упрекаю, даже если очень голодная или пребольно разбиваю коленки.

Скрипнула дверь,— наверное, сестра. Она старше меня, и, пока она не позволит, мне свой хлебец трогать нельзя. Но это не сестра, а баба Хима. Я выглянула из-за занавески: она крестилась перед иконой. Она крестится утром и вечером, а также когда надолго выходит из избы, и что-то при этом шепчет. Однажды я тоже встала с нею рядом и стала креститься, но она меня оттолкнула и сказала, чтоб я не лезла к ее Богу. Я сказала, что Бог на всех людей один. Но вмешалась мама и объяснила, что, хотя Бог и один, зато веры разные. Я больше не лезла к бабы-Химиным иконам, но про разные веры так и не поняла.

Вдруг из-за занавески протянулась рука; баба Хима ощупью нашла нашу круглую коробку, подтянула ее к краю печки, открыла, поширила и вынула один хлебец, вздохнула, вынула второй, закрыла коробку и задвинула ее на место.

Я обмерла. Меня охватил ужас и еще стыд. Так было стыдно за бабу Химу, что я даже не подумала сразу, что теперь маме не достанется ее доли. Мне было так страшно, что баба Хима могла увидеть меня на печке; как бы ей было тогда стыдно! Ужас.

Но баба Хима меня не увидела. Было тихо. Я выглянула: она опять крестилась перед иконой, одной рукой прижимая к себе наши хлебцы. И тут меня что-то стукнуло в самый живот: а Бог? Ему что же, маму не жалко, меня не жалко, сестру не жалко? У нас избы нет, коровы нет, теленка нет, даже папы нет. На то Он и Бог, чтобы все это знать. А Он видел и ничего не сделал? А мог бы очень просто: баба Хима могла бы увидеть меня сразу, когда я в первый раз выглянула, и тогда бы все обошлось. Или коробка могла стоять так, что она бы до нее не дотянулась, да мало ли способов у Бога, на то ведь Он и Бог.

Баба Хима ушла. А я вдруг ни с того ни с сего расплакалась: никто меня не бил, никто не ругал, не гнал, а я — сначала тихонечко, а потом все громче и громче, и делалось все обидней, и когда с улицы пришла сестра, я уже ревела во весь голос.

Вечером меня еще раз очень обидели, и я опять громко плакала, потому что сестра сказала маме, что хлебцы-то, наверное, съела я, и мама очень подозрительно на меня посмотрела. И опять Бог ничего им не доказал, а тоже мог бы.

Больше я в Бога не верила, хотя маме об этом не сказала. Иногда по привычке обращалась к Нему в трудные минуты, но это ведь просто по привычке.

Летом наш колхоз оживал: взрослые работали в поле и на огородах, ребята носились по улицам как угорелые, развлечений было множество: устраивали набег на колхозный горох, турнепс, морковку, ходили по грибы и по ягоды, иногда помогали взрослым.

Хуже всего было весной: скот голодный, сена не хватало, травы еще нет, картошка кончилась, дрова кончались, овощей давно нет, мука редко у кого до весны держалась. Варили противную склизкую капусту и тюрю из овса. Председатель колхоза и бригадир по утрам стучали в окна, громко ругали людей, отправляя на работу. Семьян не хватало, людей не хватало, а из района один за другим приезжали уполномоченные, повсюду лезли, грозились, и их еще следовало кормить.

А летом — красота: коровы дают больше молока, есть ягоды, грибы. Даже мед иногда перепадал. Я однажды от перенаслаждения вроде сознание потеряла. У соседей наших, Соколовых, было несколько ульев. Их дед, однорукий дедушка Леша, устраивал на огороде целую фабрику: стояла бочка, он вставлял туда соты и крутил ручку: из всех восьми сот на стенки бочки летел жидкий первый мед. А внизу в бочке был краник, через который мед разливался по всяким крынкам и банкам. Мне налили полную миску меду, разрешили прямо с грядки нарвать свежих огурцов и велели макать ими в мед. Огурцы часто попадались горькие, но бросать было неудобно, да и с медом ничего, не очень горько. Зато аромат и от огурцов и от меда такой, что голова кружится. Я там среди грядок и упала. Очухалась в избе у Соколовых. И, открыв глаза, спросила: «А где мой мед?»

Бабы брали меня в лес по бруснику. За день можно было набрать ее много, но тащить полное ведро мне было не под силу, и с собой на целый день взять поесть было нечего. Но это нечего, бабы давали откусить. А мама потом выменивала собранную бруснику на молоко или картошку, так

как нам все равно замочить ее на зиму было не в чем. Моченая и мороженая брусника зимой очень вкусная, ею закрашивали кипяток вместо чая. А если бы был сахар, то можно было из нее варенье сварить, но ни чаю, ни сахару в деревне не было. Бабы рассказывали, что когда-то, до войны, в деревне работал магазин, где продавали спички, нитки, керосин, соль и разные другие нужные в хозяйстве товары. Иногда забрасывали даже ситчику на платье и косынки в горошек. Можно было собрать маслица, яичек, свезти на базар в село и на вырученные деньги колбаски и мяса купить. И рассказывали, что в селе на базаре и поросят, и кур, и телят продавали, и картошка всегда была, а мясо даже в деревне водилось.

Я к таким разговорам относилась недоверчиво: может, это когда-то и правда было и взрослые помнят, а вот ребятишки в школе нас с сестрой не раз на смех поднимали, когда мы рассказывали про бублики с маслом и какао, про бананы и виноград; нам просто не верили, и мало-помалу мы тоже позабыли, что такое существовало. Конечно, какие уж воспоминания о вкусных вещах, когда соль — проблема, мыло — проблема, мама постоянно жалуется, что мы растем, одеть нечего, сама тоже свои шелка изорвала. Может, и был когда-то ситчик в магазине и платки в горошек — сейчас ничего не было. Бабы сами ткали грубое полотно вроде мешковины и шили из него юбки, а из старых юбок — кофты, а из старых кофт — лоскутные одеяла. У многих в деревне было по две-три овцы, молока они не давали, да и кормить их было зимой и весной нечем, но бабы и девки пряли пряжу из овечьей шерсти. Я очень любила смотреть, как прядут. Собирались у кого-нибудь зимой по вечерам в избе, каждая аккуратненько потягивает

шерсть из своего пучка, и хорошо так, складно поют, на несколько голосов. Мне тоже начинало казаться, что и я петь умею. Нас обычно не пускали в избу, где девки собирались на посиделки за прялкой, а уж пустят — так не дальше порога, на пол. А я как начну подвывать, так нас и выгоняли. Ребята следили, чтобы на меня вокальное вдохновение не находило...

К матери, несмотря на то что папу забрали и работник из нее был не самый лучший, бабы относились хорошо. Приходили к ней за советом, а то и просто посидеть, поговорить. Мама считалась женщиной сведущей, особенно в области медицины. Да она и вправду иногда давала полезные советы. За это нам приносили то пяток яиц, то молока, а то и буханку хлеба. Я даже помню, как одна тетка принесла курицу, у которой был типун, чтоб мать заговорила его. Мама, которая вряд ли знала, где этот типун, глубокомысленно посоветовала нарезать курицу... Мама писала для всей деревни письма на фронт и разные заявления тоже. Сестру и меня бабы особенно жалели. Разглядывали меня, тещиную, маленькую, ручки-ножки как у паучка, качали головами и вздыхали:

— А эти вот малые за что мучаются? Какие такие они опасные? Кому опасные?

И тяжело вздыхали деревенские бабы, непонятно им было мамино объяснение, что мы — «социально опасные элементы». Честно говоря, и я тогда не понимала.

Неудобства всякие тоже были. Например, не было уборных. Кое у кого в огороде стояла будочка вроде скворешника, а у нашей бабы Химы и той не было. И забора вокруг дома не было. Был только хлев без двери. Когда надо было в уборную, заскочишь в хлев, переждешь, если по улице кто-то

в это время идет, и — быстро-быстро, чтоб не увидели. Мама всегда переживала, а мы — ничего. Конечно, хлев никогда не убирался, далеко от входа не отойдешь — увязнешь, особенно летом. Да и зимой не многим лучше: намерзали горы, было скользко, да еще часто приходилось прокапываться до хлева в снегу: за ночь целые сугробы наметало, даже в самом хлеву. Но деревенские обходились с этим делом проще: я часто видела, как зимой идет себе какая-нибудь тетка по единственной деревенской улице, останавливается посреди дороги, чуть раздвинет юбку и, не присаживаясь, стоя, делает свое дело. И отправляется дальше, оставив острую ледяную дырку с желтыми краями на дороге.

Беда была и с мытьем. Бани тоже были не у всех. Чаще всего несколько соседей по очереди топили одну баньку у кого-нибудь на огороде. Все бани топились по-черному: котел заделан в кирпичи, под него кладут дрова, а дым идет прямо в помещение, так как дымохода и трубы не было. Часто даже предбанника не было. Воду носили из колодца. Тут же стояла бочка с холодной водой. Нас, жалеючи, по очереди пускали в свои бани деревенские: мать очень старалась держать нас в чистоте и помыть хоть раз в две недели, но это не всегда удавалось. То воды не было горячей, то — начнем мыться, а я сознание потеряю: никак не могла приучить себя к дыму, и маме тогда уж не до мытья — скорее вытереться и тащить меня на воздух. Деревенские пускали нас, когда сами перемоются, так что и не так уж жарко было, просто у нас привычки к таким баням не было. Сами же они еще и пару поддавали, да еще на полке веником парились. Часто зимой бабы и ребяташки, голые, красные, исхлестанные веником, распаренные, выскакивали из баньки и — прямо в сугроб, поваляются — и обратно. Но

как мама ни старалась, вши у нас все равно были. Целые дни мы с сестрой «шарились» в волосах...

Школу мы любили, учительницу тоже. Она была одна на все четыре класса. Занимались мы в две смены: первый и третий класс — в первую смену, второй и четвертый — во вторую. Так что мы с сестрой не только дома надоедали друг другу — в школе тоже сидели в одной комнате. В одной половине — второй класс, в другой — четвертый, а учительница ходит между нами, объясняет, спрашивает, домашнее задание проверяет. Потом, когда я училась в четвертом классе, очень многое было мне уже знакомо...

Беда была с учебниками: их на весь класс было только несколько штук. Но мы брали их друг у друга, а иногда все вместе прямо после занятий делали уроки. Тетрадей настоящих у нас не было. Каждый листочек белой бумаги берегся для письма на фронт. Писали мы между строчек старых газет. И если бы еще чернилами, а то их-то тоже не было. Мы разводили обыкновенную печную сажу водой. Она расплывалась по газетной бумаге, и часто учительница спрашивала, что мы написали, потому что разобрать было нельзя. Мы и тетрадки шили из разрезанных газет. И чистописанию я училась на газетной бумаге и «сажными» чернилами; странно, что и у сестры и у меня довольно приличный почерк.

Однажды мама поехала в Дзержинск (районное село, к которому относился наш колхоз), чтобы хлопотать об отце или хотя бы узнать, жив ли он. Тут, в сельсовете, ей сказали, что ссыльных отправляют дальше на север, в район Игарки, к Полярному кругу. Мама очень расстроилась, но знакомые ссыльные в Дзержинске рассказали ей про одну женщи-

ну в сельсовете, которая, если захочет, может помочь. У мамы было еще несколько пар шелковых чулок и какие-то мелочи. В тот раз она отдала той женщине пару чулок и вышитый шелковый конвертик, очень красивый, — в нем она держала раньше свою ночную сорочку. Тогда действительно многих отправили на север. И нам вечно угрожал этот север, и мама не раз откупалась у той женщины.

Летом второго нашего сибирского года в колхозе произошло целое событие. Вдруг, в первый раз за все время, в деревне показался грузовик. Все ребяташки, разинув рты, бежали за ним. Мы с сестрой тоже. Шофер останавливал несколько раз машину, спрашивал что-то, ребяташки повисали на подножках, орали, объясняли. В кабине сидел еще один человек. Машина остановилась у дома нашей бабы Химы. Мужчина вылез, шофер подал ему два чемодана из кузова и уехал. Мы, как на чудо, устали на того человека. А он — на нас. Вдруг он подошел прямо к сестре и спросил ее имя. И на меня как-то странно взглянул. Я испугалась, сестра тоже. А он вдруг расплакался, узнав, что это мы. С поля уже бежала мама и тоже плакала, обнимаясь с ним. Это был папин брат, из Москвы. Только много позже я поняла, каким человеком надо было быть, чтобы искать в Сибири незнакомых жену и детей брата — «врага народа», и что значила подобная поездка в то страшное военное время.

А с самим братом (то есть нашим отцом) у него никакой связи не было: для него в Москве было очень опасно иметь брата за границей, особенно когда работаешь в наркомате, хоть и бумажной промышленности. Дядя пробыл у нас всего один день, с мамой они поговорили только поздно ночью, потому что вся деревня пришла смотреть на москов-

ское чудо и ребятишек было не выгнать. Мы лопа-лись от гордости, что и у нас бывает не всегда только плохое.

Привез он нам такое богатство, что его хватило почти на год существования. Бумагу, карандаши, перья, чернила, денег оставил, да еще и еды привез. Превеликий был праздник. Мама продавала бумагу по листику, а мы в первый раз писали в школе не на старых газетах. И настоящими чернилами.

Но сестре надо было учиться дальше, а в деревне было только четыре класса. Мама снова поехала в Дзержинск, к той же женщине в сельсовете, и та устроила так, что нам разрешили туда переехать. Колхоз выделил нам лошадь, бабы помогли сложить наши матрасы и прочие пожитки на телегу, даже провожатого дали. Я, конечно, больше всего заботилась о Юки, та никак не хотела сидеть в темном мешке, а показывать дорогу, сказали деревенские, ей нельзя, а то прибежит обратно. Провожала нас до околицы вся деревня, даже хромой председа-тель. Бабы обнимали и крестили мать, целова-ли нас. Все плакали.



Первым делом мама повела нас в школу. Мы опоздали к началу учебного года, но нас приняли: сестру записали в пятый класс, меня — в третий. Тут бы радоваться, но я вцепилась в маму и умоляла ее не оставлять меня одну, потому что все такие большие, и такие уверенные, и одеты лучше меня, и, может быть, можно было бы меня отправить обратно в деревню? А если нет, так совсем не обязательно, чтобы я тоже училась, вполне хватит ученой сестры. Я видела, что маме жалко меня. Она сама, кажется, немножко растерялась в этой большой двухэтажной школе, с директором, завучем, учителями и даже специальной учительской (это после нашей-то деревенской школы в одну комнату и с учительницей одной на все четыре класса!). И когда я уже почти уговорила маму и предвкушала наш обратный путь домой, к нам вдруг подошла девочка, чуть повыше меня, в очень красивом ярко-красном пальто.

- Девочка, ты новенькая?
- Да, но я еще не знаю, буду ли я учиться.
- А тебе в какой класс?
- В третий.

— Ой, как хорошо! К нам, значит,— и, схватив меня за руку, не дав попрощаться с мамой, потащила за руку по коридору.

В классе она распорядилась совсем просто: столкнула с парты какого-то мальчика, кинула ему в руки книжку и тетрадку и все прочее его добро и усадила меня рядом с собой. Это была Люся. Самая красивая, самая богатая и самая умная девочка в классе. Ее мама была заведующая пекарней, папа — комиссар на фронте, сами они — эвакуированные из Москвы. Я робела перед ней, но очень гордилась нашей дружбой. Мне-то нечем было похвастаться: ни папой, ни мамой, ни местом рождения, потому что мама строго-настрого наказала ничего не рассказывать.

— Люсь, а почему ты сидишь в классе в пальто? — спросила я, чтобы начать разговор.

— У меня самое красивое пальто во всей школе. Это раз. Два — это чтоб не украли: у нас все воруют — и перышки, и карандаши, и бутерброды из сумки. Если ты будешь меня слушаться, я тебе каждый день буду давать откусить от моего бутерброда, а то и вовсе отдам лишний. У нас хлеба много.

Я от робости даже не поблагодарила. Но почувствовала себя уверенней.

Дзержинск был намного больше нашего прежнего Мокрого Ельника: тут кроме десятилетки была еще одна начальная школа, настоящий клуб, где иногда показывали фильмы, больница и даже площадь, где по воскресеньям бывает базар. И рядом с нашей школой — детский дом.

— Но ты чтоб не смела с ними связываться,— в первый же день поучала меня Люся.— Все дет-

домовские — воры, и они вечно голодные и очень злые. А когда дерутся, то кусаются и царапаются. У них нет родителей, и поэтому они как звери.

Я перестала бояться школы и полюбила Дзержинск. Тут было интереснее.

Маме тут тоже было лучше, у нее среди ссыльных было много знакомых. Забот, правда, прибавилось. В деревне было проще. А тут за комнату очень дорого приходилось платить, и продукты были дороже, и мы из всего выросли, а купить нигде. Мама очень переживала. Но нас ни в чем не упрекала, только просила учиться лучше, стараться быть тише воды, ниже травы, поменьше спрашивать, ни с кем не спорить и вообще — Боже упаси чем-нибудь выделяться.

Мама очень изменилась за один год. За два дня до высылки, в июне 1941 года, ей исполнилось тридцать шесть лет. Она тогда была очень красивая, элегантная, веселая, остроумная. Мама происходила из бедной семьи, жизнь у нее в молодости была не очень сладкая. Замуж за папу она вышла не по любви, а по настоянию родителей. Я очень рано узнала, что родители живут недружно. Помню, как жаловалась мама: «Если бы не дети — давно бы разошлись» и — «На моем замужестве родители настояли, я бы ни за что за него замуж не вышла...», а я, совсем еще кроха, забравшись ей на живот и поскуливая из солидарности, вытирала ей катившиеся по щекам слезы. Конечно, причин родительских ссор мы не знали, и много-много лет прошло, пока я перестала слепо держать сторону матери... Так или иначе, замужество было по расчету. Но деньги особой радости не принесли: папа люто ненавидел «транжирство». У него все шло по плану, каждый сантим был рассчитан; на мамины «шалости» отпусалось весьма скупо. Но мама «устраивалась»:

понемножку потаскивала у себя же из кассы. Папа в магазине был владыкой, хозяином, которого все боялись, а мама — кассиром и доброй феей.

У мамы были всякие меховые шубы и множество бриллиантов, но папа не разрешал их носить: «Нечего мозолить глаза». Папа во всем требовал скромности. Шубы, пропахшие нафталином, висели в шкафах, драгоценности лежали спрятанными в разных укромных местах. Нас папа тоже не баловал, приучал с детства к бережливости, выдавал по утрам по два сантима каждой, объясняя при этом, как трудно деньги достаются и как их следует беречь. Мы берегли и покупали маме ко дню рождения подарки.

Мама бывала в Вене, Берлине, кажется, и в Париже, ездила лечиться в Карлсбад. Я помню, сколько удовольствий бывало, когда мы с папой навещали ее в самом шикарном санатории на Рижском взморье — Кемери.

Теперь же она оказалась одна, без денег, без специальности, без навыка работать физически, с двумя детьми. Крутилась с утра до ночи в поисках пропитания, в поисках работы и еще пыталась выглядеть «прилично». Мы были плохими помощницами, особенно я. Я давно уже не была «очаровательным ребенком», сестричка тоже доставляла немало хлопот. Мы вечно были голодны. У кого же требовать, как не у мамы? Она продавала свое и чужое, последними ушли отцовские часы, которые он как-то сумел отдать ей во время ареста, хотя они тоже подлежали конфискации. В Дзержинске также не было бумаги, а безграмотные были: мама продавала бумагу по листочку и писала заявления и письма. Мы сменили четыре комнаты: мама искала самую дешевую. Каждая последующая была меньше и хуже предыдущих. Последней была длинная темная землянка, в которой обитало нас чет-

веро: мы съехались с еще одной молодой женщиной, чтоб дешевле вышло.

Люди в селе отличались от деревенских: они уже были избалованы присутствием ссыльных и эвакуированных и пользовались их бедственным положением. Поэтому мне особенно врезались в память исключения.

Мама удалось по знакомству устроиться уборщицей в школе, в той самой десятилетке, где мы с сестрой учились. Парты в классах были тяжеленные, их приходилось перетаскивать при ежедневном мытье полов, вода была ледяная, классов много, коридоры длиннющие. Мама выбивалась из сил, стала худой и слабой. Полы оказывались вымытыми не наилучшим образом, ей делали замечания, она лезла из кожи вон, старалась, боялась потерять работу. Получала она рабочую карточку, мы — иждивенческие, вместе на день нам полагалось 900 грамм хлеба. Потом эту норму сократили до 650 грамм. Но и эти граммы было не так-то легко получить. В очередь за хлебом мы выходили ночью, первая мама, потом сестра и я. Мы из-за этого часто пропускали школу. Случалось, что простиошь на лютном морозе часа четыре, а хлеба не хватит... А иногда бывало, что продавщица объявит, что хлеб кончается, народ остервенело кидается с улицы в магазин, выбрасывая из очереди таких дохленьких, как я. Хлеб был горький-горький, с лебедой и отрубями.

Самые тяжелые воспоминания о голоде связаны у меня с Дзержинском. Мама варила щи из травы, толкла картофельные очистки, заваривала жиденькую тюрю из отрубей, кисель из отходов жмыха. Этот последний «деликатес» доставался почти с таким же трудом, как хлеб: тоже с ночи выходили мы с ведрами к воротам цеха, где производили жмых (корм для скота, прессованный), вставали в хвост

огромнейшей очереди. Утром начинали отпускать по ведру на человека мутную, кисловатую, буроватого цвета жидкость. Мы ее заваривали крахмалом, который тоже был ценностью, разливали по тазикам и мискам, по посудине на душу. Но моя душа частенько не хотела принимать этот кисель, невзирая на голод; вернее, душа принимала, а желудок не хотел. Иногда я выменивала у сестры свой таз на четвертую часть ее порции хлеба, на 50 грамм, причем обе считали, что совершили весьма выгодную сделку: меня, по крайней мере, в тот день не тошнило, сестра поела два полных тазика того гнусного пойла. Ноги я тогда не протянула, но худющая была, как паук.

Раз в неделю, по воскресеньям, в Дзержинске работал базар. Продавалось мороженое молоко кружочками, мороженая капуста, свежая и квашеная, семечки, орехи кедровые, серные палочки по рублю за штуку. Эта сера здорово помогала выдерживать голод: жуешь ее, пока она не рассыпется в порошок, во рту пахнет смолой, челюсти заняты, да еще и пощелкиваешь. Даже будто не так голодно. Мама на базаре выменяла на продукты даже наше старое белье. Продавала она и по просьбе других людей старые вещи, и ей за это давали кое-что. Работала она только за хлебные карточки и для того, чтобы и на нас их получить: если глава семьи не работал, то и иждивенцам карточек не полагалось.

Дядиных денег хватило ненадолго; обычно нечем было платить за жилье. Одно время мы жили в общей комнате с хозяйкой и ее двумя сыновьями, один из которых учился в школе. Младшего хозяйка иногда просила покормить днем, пока она на работе. Я систематически съедала все, что она оставляла этому несчастному ребенку, словно по принципу: пусти козла в огород...

Мама часто жаловалась, что клопы ей спать не дают, грызут по ночам. Я только помню пятна на подушке, на простынях, на стенах, но не думаю, что особенно страдала от клопных укусов. Вши грызли нас беспощадно в течение всего нашего сибирского житья, и не помогали ни «исканье» в голове, ни кипячение одежды, ни прочие меры. Чирьев стало у нас поменьше, но один-два всегда мешали жить.

В школе с нами учились детдомовские дети, их было больше половины класса. Им, несчастным, доставалось еще хуже, чем нам, за них и заступиться было некому. Они передвигались, как тени, глаза — в пол, искали крошки и зерна в щелях, все в серых балахонах, стиранных и латаных. Я бывала у них в детдоме: в длинных холодных комнатах стояли топчаны, на всех одинаковые серые одеяла. Дети и там передвигались, еле переставляя ноги. Все бритые, у всех голодный и безразличный взгляд. Воспитательницы детдома меняли хлеб на вещи.

Я дружила с Люсей. Она была очень умная, я ее слушалась. Они жили в большом доме, у них были красивые вещи, в трех комнатах их жило всего пятеро: мама Люси — заведующая пекарней, Люся и ее младший брат, бабушка и дедушка. Папа ее был на фронте. Люся приносила с собой хлеб с маслом, но ела его под партой, потому что детдомовские выпрашивали, да и, честно говоря, частенько и я смотрела в рот. Но мне она давала откусить, а иногда даже для меня специально приносила лишний бутерброд. Она была старше меня на год, была красивее, толще и умнее. Поэтому и покровительствовала мне. Люся все знала.

С нами дружили еще две девочки, Валя и Ира. У Вали мать тоже чем-то заведовала. Моя мама продала Валиной маме наши красивые шелковые трусики сразу, когда мы приехали. Позже, когда

мы в концертах самодеятельности на вечерах танцевали «Светит месяц» и «Тройку», Валя для «Тройки» меняла трусики с розовых на голубые, а мне пришлось танцевать в обыкновенной юбке...

В четвертом классе у нас появились ухажеры. Выглядело это примерно так. Получаю скомканную записку, на ней каракули: «Я тебя люблю. А ты? Бычок». Я в ужасе. Бычок — самый маленький, но и самый вредный мальчик в классе. Вечно дерется, таскает девочек за косы, часто с разбега бьет головой в живот, это называется у него «брать на голову». Голова у него большая и круглая, сам он маленький, за это его и прозвали Бычком.

Я решила посоветоваться с Люсей. Уж она-то все понимает, она мне про любовь уже рассказывала.

На перемене сошлись мы все четыре подружки, и у каждой в руках по одинаковой записке, только с разными подписями: Бычок, Шайтан, Молчун, Хрущ. Это все были прозвища и сокращения.

— Девочки, вы как хотите, а я своего Хруща люблю,— сказала Люся.— Хрущ — самый красивый парень в классе.

Это была правда. Володя Хрущев был не только самый красивый, но и самый старший мальчик в классе. За шесть лет он добрался до четвертого класса. Про него рассказывали страшные истории: будто с ним за кусок сала делали что-то жуткое под крыльцом клуба две детдомовские девочки — близнецы Шура и Оля.

— Мой Молчун ничуть не хуже,— сказала Валя, надув губы.— А папа его начальник НКВД. И он, когда вырастет, будет начальником. И моя мама рассказывала, что они очень богато живут. Я его люблю.

— А я Шайтана боюсь,— сказала Ира.— Он и

вправду как шайтан: ноги кривые, глаза горят, и голова в шишках. И дерется больно. Кажется, я его не люблю.

Дошла очередь и до меня.

— А что такое люблю?

— Ты что, никогда в кино не была?

— Была, а что?

— В каждом кино есть про любовь.

— А я всего два кино видела, и никакой любви там не было, а очень хорошо было показано про собаку на пограничной заставе, ее звали Джульбарс, и она ловила врагов и шпионов.

— Перестань молоть глупости, нам надоели твои вечные собачьи истории.

— Я и другую картину видела, тоже про шпионов, называлась «Тринадцать». Это было в колхозе, кино показывали прямо на улице, и оно рвалось все время, и, когда пошел дождь, все побежали по домам, до конца не досмотрели. Так и там я не помню про любовь. Были только наши и басмачи.

— Про любовь — это когда в конце целуются, — наставительно сказала Люся.

— С кем?

— Ну, он и она.

— Это обязательно надо, чтобы целоваться, если любовь?

— Да, иначе какая же это любовь?..

— А когда же мне придется с Бычком целоваться? В конце чего?

— А он скажет.

— Я не умею целоваться. Меня только мама целует.

— Я тебя научу, — пообещала Люся.

Мы стали деловито обсуждать, как и что отвечать нашим кавалерам. Из Люсиной записки явствовало, что ответы следует положить строго секрет-

но еще до конца уроков в шкаф около раздевалки, в конце коридора.

Люся ответила по форме: «Я тебя тоже люблю» — и велела мне писать то же. Я сначала уперлась:

— А я не хочу с ним целоваться, значит, я его не люблю. И я его боюсь, он меня всегда по голове бьет.

Но Люся мне объяснила:

— Когда любят — всегда бьют. Это тебе так дают понять. А не ответишь как следует на записку, все равно бить будут, но еще сильнее. Так что пиши быстрее.

Я написала. Люся объясняла про любовь с большим увлечением, я слушала с большим интересом.

— Это только начало. Следующая записка будет: «Давай дружить». Я все это уже знаю целый год. Я дружила со Славой Тарасевичем, он был очень красивый. Их летом на север сослали.

У Бычка была толстая палка. Он скакал с ней по партам, бил девочек. После записок моей голове досталось этой палкой пребольно: так Бычок выражал любовь. Я его возненавидела. Мы «дружили». Утром, еще в темноте, чаще всего на льду речки, через которую мне надо было перебираться по дороге в школу, Бычок из-за сугроба вдруг обстреливал меня целым градом снежков. Он заготавливал их заранее, хорошенько прессуя для чувствительности. В школе он бил меня палкой, таскал за косы, мазал лицо и платье чернилами. По дороге домой он вдруг выскакивал откуда-нибудь, налетал сбоку, стучал сумкой по голове и сбивал с ног или заталкивал головой в сугроб. Я бежала от него, воя от боли и злости.

Эта любовь продолжалась до лета, а на следующий год меня полюбил Шайтан, до этого любивший Иру: мой Бычок и Люсин Хрущ остались на второй год в четвертом классе.

Теперь нас били меньше, но в любви появились новые мотивы: записки, как всегда — всем четверем подружкам одинаковые, поступили со странным текстом: «Мы вас любим, дайте нам». В любви я уже кое-как разобралась, хотя ни в конце, ни в середине с Бычком целоваться не пришлось. Но тут от нас что-то требовали дать. Люська сердито выговаривала мне за глупость и схематически изображала на бумажке, что от нас требуется. Я не понимала.

— А зачем?

— Ну как зачем? Я точно не знаю, но, когда любят, это полагается делать.

— А где мы будем им давать?

— Скажут.

— Не пойду. Пусть бьет, а я все равно не пойду. Я боюсь.

— Дура, ничего нет страшного.

— А ты откуда знаешь?

— Не твое дело.

— Не пойду, я боюсь Шайтана: у него желтые глаза, кривые ноги, толстые губы. Мне еще в детстве попадало от мамы, когда мы играли с мальчиками в игру «Раз-два-три — штаны вниз» и смотрели друг на друга. И сейчас попадет; я знаю, это что-то нехорошее.

И вдруг Ира меня поддержала:

— И я не пойду давать. Мне мама тоже говорила, что девочке нельзя играть с мальчиками, нельзя давать себя трогать и разглядывать. Мама мне не разрешает догола раздеваться при братьях. И я слышала, что от этого дети рождаются.

— Ты тоже дура, — возмутилась Люся. — Это после тринадцати лет могут появиться дети, а нам всем еще двенадцати нет. А этой дуре так вообще только десять.

Но я не ответила на записку. Шайтан бил меня очень сильно, колот меня перышком и облил чернилами. Я боялась пожаловаться. Попадало мне со всех сторон: от Шайтана, от учительницы и дома, от мамы, за испачканное платье. Я тогда часто плакала.

Не везло в любви, повезло в другом: на нас свалилось неожиданное счастье. Через какую-то организацию нас нашла мамина сестра из Палестины, стала посылать нам изредка посылки. Мама абсолютно все вещи из посылки продавала, хотя тетя иногда специально для нас посылала детские кофточки. Мамиными покупателями были всякие заведующие, вроде Люсиной мамы и Валиной, продавщицы хлебного магазина, еще чьи-то жены. Иногда кое-что покупала женщина-врач, на которую и мама и другие ссыльные намолиться не могли. Было у нее странное имя: то ли Иран, то ли Тигран (она была армянкой). Мы звали ее Ранти-Гранти-Грановна. Потому ли, что мама так часто восхищалась ею, то ли она к нам как-то особенно относилась, но мы ее тоже боготворили. Я восторженно смотрела ей в глаза, усталые, черные, выпуклые, и мне очень нравились ее черные усики и белая прядь в черных выющихся волосах. Она жила в домике при больнице, расположенной за нашей школой на горе, почти в лесу. Через день я ходила к Ранти-Гранти за молоком за выменянные вещи. Иногда меня впускали в дом погреться. Иногда наливали даже мисочку супа, очень вкусного, похоже даже — мясного. Добрая Ранти-Гранти гладила меня по голове, щупала мои ребра, покачивала головой. И видимо, потому, что мои ребра, по ее медицинским понятиям, прощупывались сильнее, чем надо, она наливала мне полную крынку молока, хотя полагалось всего лишь литр. Свою «реберную часть» я отпивала не-

медленно, тут же за дверью, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Зимой бывало очень холодно, так холодно, что у домика Ранги-Гранти деревья трещали, будто стреляли. В такие очень уж морозные дни на льду речки или просто на снегу лежали трупики замерзших воробьев. В школе нам объясняли, что птицы в основном замерзают на лету, так как при этом мороз может легче добраться сквозь перышки до тела и сердце замерзает. Мне же всегда казалось, что если их отогреть, то они оживут. Я приносила окоченевших воробьев за пазухой, заматывала в тряпочки, дышала на них и очень огорчалась, когда мама на следующее утро выбрасывала их обратно на мороз... Мама утешала меня, говорила, что, раз уж воробышек полетел, значит, ему очень нужно было, так нужно, что он все равно бы умер, если б не полетел. И летел он с надеждой, что долетит. Так и смерть не очень страшна.

Возвращаясь с молоком от Ранги-Гранти, я всегда боялась переходить через речку по узкой тропке, протоптанной в снегу. Ветер завывал тут особенно страшно и сильно, и было совершенно темно. И холодно. А я еще в Мокром Ельнике отморозила пальцы рук, и они особенно мерзли. И ног от страха и мороза я под собой не чуяла. Крынку же полагалось прижимать к себе, чтоб молоко по дороге не застыло. Однажды она у меня выскользнула. От ужаса я потеряла сознание.

Зато потом было очень хорошо. Мне показалось, что я сплю, что мне тепло, уютно, что кто-то трясет меня, и будто лицо горит, и будто я слышу голоса. Но мне так приятно, что глаза открывать лень. Но стали трясти очень сильно, и пришлось их открыть. Кругом стояли какие-то незнакомые люди, я лежала на чьей-то кровати, какая-то жен-

щина терла мне руки и ноги снегом. Снег царапал кожу, и тело будто кипятком облили. Целая семья, оказывается, возвращала меня в жизнь. Они нашли меня на льду и подумали, что я мертвая. Но все же принесли к себе домой и решили оживить. Я хохотала вместе с ними, когда они рассказывали, что трясли меня, как грушу, а я, ленивая девчонка, лежала нарочно как мертвая и глаза не открывала, чтоб их позлить. Потом мы все пили горячий и очень сладкий чай. А перед уходом, когда я им рассказала, что мама будет очень ругать меня за разбитую крынку и пролитое молоко, эти люди подарили мне полную крынку с молоком. И до дому довели.

Случались в нашей жизни и неприятности. Заболела корью сестра. Я когда-то тоже болела, еще давно, в Риге, когда была маленькая. А дети переносят корь легче взрослых. Потому тогда ко мне, обсыпанной противной красной сыпью, положили в кровать сестру. Но она не заразилась. А сейчас, в тринадцать лет, она вдруг заболела. В холод, голод и когда нет доктора. И лекарств никаких нет. И дров у нас тогда было очень мало, так что мы кутали ее во все одежды и одеяла. Но она стонала, дрожала, ночью кричала, и мама все время щупала ей лоб и в отчаянии бегала по комнате. Мы давали ей пить кисленькую клюквенную водичку. Я пыталась ее смешить, строила рожи, но она не открывала глаза и стонала. Потом мне показалось, что она умерла, и я сказала об этом маме. Тогда мама побежала к соседям за саночками. Мы завернули сестру во все наши одеяла, обложили ее подушками и, как куль с картошкой, повезли на гору в больницу. Тащить было очень тяжело, особенно в гору. Мама плакала, но от слез смерзались ресницы. И чтобы не плакать, она начала кричать на меня, что я ей плохо помогаю тащить саночки и лучше, чтобы я сзади их под-

талкивала и заодно следила бы, дышит ли сестра.

Мы оставили сестру в больнице у Ранти-Гранти, которая довольно скоро ее вылечила. Приехали за ней мы снова с саночками и под гору, довольные, бежали вприпрыжку.

В другой раз сестра натерла ногу валенком, вернее, портянкой: видно, неправильно намотала. Стала нарываться пятка, болела, мешала, но она не очень жаловалась, и даже все как будто обошлось. А потом вдруг на ноге к колену поползла довольно широкая красная полоса, остановилась у сгиба под коленом и стала нарываться и набухать. Вся нога распухла, колено не согнуть, под коленом темная нарывающая блямба. Мама сказала, что так продолжаться больше не может, что завтра она отправит сестру в больницу. Но ночью сестра вдруг стала дико кричать, корчиться, судорога сводила ее тело, вся она горела и кричала, что в ноге стучит до самой головы. Опять мы на соседских саночках тащили ее через лед к нашей Ранти-Гранти. Но в этот раз сестре пришлось делать операцию. Мы с мамой, перепуганные, сидели в коридоре больницы. Пришла Ранти-Гранти, очень сердитая, и сказала маме, что стыдно так запускать: чуть не пришлось отнимать ногу. Она надеется, что все обойдется, хотя пришлось что-то там чистить и резать. Но еще есть воспаление, и хорошо бы достать какое-то новое лекарство. Мама с разрешения спецкоменданта даже ездила куда-то за этим лекарством, но достать его не удалось. К счастью, сестра поправилась и без него.

У меня лично тоже бывали огорчения. Например, Валя у нас же купила трусики, а мне потанцевать в них не давала. Или мальчишки меня дразнили. Особенно один меня злил. Он всегда сидел на заборе, когда я возвращалась из школы; зимой он кидал снежки, летом — камешки и кричал:

- Латышка, латышка!
- А ты — дурак, заткнись.
- Латышка, латышка, ссыльная-пересыльная.
- А ты — жид, на завалинке сидит.

Он на этом озадаченно затихал: резонного, видно, возражения не находил. Почему он «жид», когда его папа — офицер НКВД? Он, вероятно, и о ссыльных латышах от папы наслышался. А меня часто дразнили «жид, на завалинке сидит», хотя я и не знала точно, что такое «жид».

Дразнили меня в классе и за то, что я была самая маленькая, а по худобе не отличалась от детдомовских. Не верилось, что когда-нибудь и у меня появятся разные красивые округлости, которыми так гордилась Люська: она несколько раз уже мне демонстрировала эдакие бугорки, которые называла грудью. Я же после тщательного осмотра пришла к заключению: не похоже, чтобы с такой всеобщей колючестью можно было превратиться в цветущую девушку. Коленки, ребра, локти — все у меня колодось...

Сестра тоже приносила долю огорчений: она была всего чуть выше меня ростом, но кругленькая, розовая и красивая. С чего — непонятно: ела она точно то же самое, только что ее не тошнило с жмыхового киселя и поспокойнее характером была. Я очень из-за всего переживала, и мама, пытаясь меня урезонить, приговаривала: «А вот оттого ты такая тощая, синяя и прозрачная, что вертишься как вьюн. Ни лица, ни тела, одни глаза. В чем только душа держится?»

Но душа, видно, в чем-то крепко держалась: я ни разу не болела, даже после того случая, когда меня нашли на льду, я не кашляла. Целых шесть лет моего первого пребывания в Сибири даже насморка у меня не было. Только иногда, по старой домашней привычке, как в детстве, я закатывала

глаза, хрипела, кашляла и судорожно глотала, чтобы продемонстрировать маме, что горло, мол, болит. Это когда уж очень хотелось горячего молока.

Учились мы обе хорошо, хотя задачки приходилось списывать на переменах или вечером ходить к кому-нибудь из одноклассников: учебников ни у сестры, ни у меня не было. Я любила больше всего пение, рисование, чтение и историю. Учительница по всем предметам была у нас одна, и она всегда с опаской вызывала меня к доске: я громко произносила тему урока, а затем пускалась в фантазии, причем, видно, довольно связные, так как ребята иногда просили учительницу дать мне договорить.

У большинства знакомых ссыльных были странные, нерусские фамилии. И поэтому, когда учительница велела нам в учебнике истории закрасить чернилами портреты разных мужчин, а у многих из них были тоже нерусские фамилии, вроде Блюхер, Якир, Тухачевский, я была уверена, что их тоже за что-то сослали. Мы с удовольствием макали пальцы в чернильницу с разведенной сажой и иногда старались больше, чем следовало. Так, из-за показавшейся мне «ссыльной» фамилии я закрасила самого товарища Кагановича, и мое счастье, что мне было тогда только одиннадцать лет.

Летом 1944 года к нам еще раз приехал дядя, папин брат. Уму непостижимо, как это ему удалось: в то время еще шла война, билетов на поезда не существовало, поезда шли безо всякого расписания, а он к тому же еще и работал. Он опять привез нам бумаги, карандашей, немного денег и забрал с собой в Москву мою сестрицу. Ему очень хотелось повидать папу, но свиданий с ним не давали.

Папа получил разрешение только на одну посылку в год. Мы долго собирали для него сухари, поку-

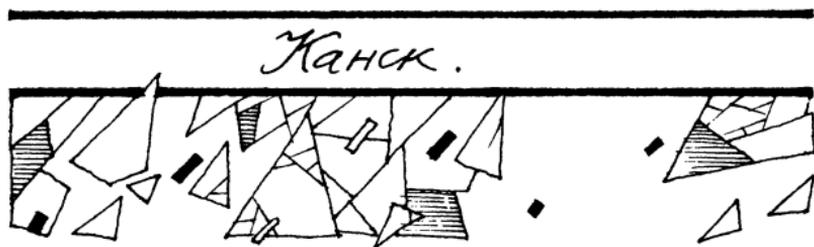
пали понемножку табак. Иногда удавалось выменять даже пачку папирос, которые мама тоже берегла для посылок. Однажды кто-то принес нам от папы не обычное лагерное письмо, а такое, где он писал, что сидит недалеко от Красноярска, в Краслаге, что статья у него 58, пункт 10, что дали ему 10 лет, что судила «тройка» в Дзержинске, что у него после отбытия лагерного срока еще бессрочная ссылка и поражение в правах. Он писал также, что помнит о нас постоянно, очень нас любит, чтобы мы не теряли надежды. А уж он как-нибудь продержится. И мы еще встретимся.

После отъезда сестры нам с мамой стало немного легче. Но все ссыльные рвались почему-то в города, и мама тоже заболела этой идеей. Самым близким к нам городом был Канск — тот самый город, около которого нас три года назад ночью высадили из теплушек. Дядя тоже советовал маме перебираться ближе к центру. И она начала хлопотать: собирала справки от врача, очень волновалась, иногда даже плакала и меня часто ни за что ругала. Хлопотала она целый год.

Потом наступил день победы, 9 мая 1945 года. Был парад, наша школа тоже участвовала. Я с барабаном — впереди всей школы: я всегда была барабанщиком на уроках военного дела и на пионерских сборах...

Но и после войны были огорчения: у нашей квартирной хозяйки было два сына на фронте, младшего мобилизовали перед самым концом войны. Хозяйка ждала их, готовилась к встрече, а вместо этого в один день получила две похоронки. Мама долго ее отхаживала: она хотела наложить на себя руки.

А потом нам дали разрешение на переезд в Канск, и в июле 1945 года, когда я закончила 5-й класс, мы уехали из Дзержинска.



Мама сняла малюсенькую комнатку, а нас опять стало четверо: с нами из Дзержинска приехала мамина приятельница Муся, а из Москвы, после года учебы там, вернулась сестра. Мы с мамой, как всегда, спали в одной кровати, за печкой; впритык к нашей кровати стояла Мусина, а сестре на ночь ставили раскладушку, задвинув стол и табуретки в угол. Два окошечка на уровне земли свету не давали. У нас всегда было темно. Но стоило нажать выключатель, как загоралось электричество. Это меня потрясло. Я за четыре года в Сибири многое из своего детства забыла... Теперь не надо было каждый день чистить стекло керосиновой лампы, замирая со страху, что выронишь его, а другого не купить; не надо было выстаивать длиннейшие очереди, когда привозили керосин; не надо было пачкаться, срезая коптящий фитиль...

Стоило только нажать выключатель... Из-за этого одного можно было полюбить Канск. И вообще — все в нем было солидно, даже название улицы — Красноармейская, дом 99, хотя в общем-то это относилось не совсем к нашему дому, а к дому хозяйки, Прасковьи Ивановны, которую мы тут

же переименовали в Апраксию. Наш домишко выглядел снаружи страшненько: халупа, полуразвалюха, в крыше дырки, двери перекошенные, оконца наполовину заколочены фанерками.

Канск — город большой: несколько школ-десятилеток, настоящий кинотеатр, почта, больница, базар, за речкой Кан — огромный текстильный комбинат, было несколько магазинов, на одном красовалась солидная надпись «Универмаг». В центре — большая голая площадь, в нее вливалось много улиц. Асфальта нигде не было, улицы немощеные, после дождя даже в резиновых сапогах не всегда удавалось перейти через дорогу. С водой здесь тоже было проще: ее брали из колонок, их было много. До сих пор я думала, что вода бывает только в колодцах, а тут покачал — полилась. Правда, идти за водой приходилось далековато, за два квартала, но мы купили коромысло, и я довольно скоро научилась не расплескивать воду из двух полных ведер, хотя меня при этом шатало, как пьяную.

Сестра за год в Москве очень изменилась. Повзрослела, вступила в комсомол. Ко мне отнеслась презрительно и высокомерно. Любила рассказывать про Москву, по которой, видимо, скучала. Жила она у дяди в самом центре Москвы, у Главного почтамта на улице Кирова.

Почти каждое ее предложение начиналось:

— А у нас в Москве...

— Что же ты не осталась у вас в Москве?

— Тебя не касается.

— Тогда и не задавайся.

— Ты деревенщина, и с тобой лучше не связываться.

Иногда, только чтобы ее завести и позлить, я невинным тоном спрашивала:

— А у вас в Москве электричество есть?

Она, не чувствуя подвоха, вдохновлялась:

— Электричество?! Ты лучше скажи, балда, знаешь ли ты, что такое троллейбус? Конечно, нет. А метро? Можешь ли ты себе представить метро? Конечно, нет. В Москве постоянно сооружаются новые прекрасные линии метро, их строят лучшие архитекторы столицы. Ты бы ахнула, какие изумительные станции: повсюду позолота, шикарные люстры, мозаика, мрамор. А ты — электричество... Ты, поди, уже забыла, как трамвай выглядит. Кстати, трамвай по плану реконструкции Москвы кое-где вообще снимут.

— Почему?

— Не современно.

— А ты откуда такая грамотная?

— Не все ведь такие неучи, как ты. Ты совершенно политически неграмотная, а я — комсомолка.

— Подумаешь, я тоже скоро вступлю в комсомол.

— Ты-то? Ха-ха-ха, кому ты там нужна? Комсомолу нужны настоящие люди, а не такие дохляки, как ты. И кроме того, тебе как миленькой еще два годика ждать.

— Ну и что, а за тебя в Москве постоянно приходилось опасаться, чтобы ты не принесла кого-нибудь в подоле.

Сестра как рак краснела и начинала сразу же злиться:

— Ты законченная идиотка. С чего ты все это берешь? И вообще, откуда у тебя этот противный язык?

— А я читала письма от дяди. И тети. Мама эти письма называла «перинами» и очень их боялась. Сплошные жалобы на тебя. Они писали, что, когда

тебе разрешали пойти погулять до семи, ты преспокойно могла заявиться домой в восемь. И что у тебя находили какие-то сомнительные записки.

— Дураки,— шипела сестра.

— И что у тебя, видите ли, уже друг завелся и что один Бог знает, что вы с этим другом делаете. И что вообще они за тебя находятся в постоянной тревоге, ты того и жди кого-нибудь в подоле принесешь.

— Идиотка. А те просто дураки. И мать дура, что показала тебе эти идиотские письма.

— И ты дура, если думаешь, что мать мне их показала. Она их прятала, а я находила.

Неприятные разговоры обычно прекращает тот, кому они более неприятны. Сестра надменно вставала:

— Марш за водой, и чтобы быстро, а не потеряться по дороге, как вчера. И почисти картошку. Дров принеси, да не каких попало, а поищи посуше. И лучину нащепи, дрова сырые. И шевелись, не стой с открытым ртом. Скоро мать с работы придет, а у тебя ничего не сделано. Я пока плиту начну растапливать.

— Ишь, умная. А под мышкой тебе не почесать? Может, пятки погладить? Воды принесу, картошки начищу, а дрова тащи сама и лучину щепи сама. Ты у себя в Москве в метро каталась, на всяких дурацких троллейбусах, а я всю жизнь лучину щеплю и ножками хожу. От этой твоей лучины у меня ни одного пальца нормального нет, сплошные занозы.

— Делай, что приказано.

— Не буду. И не кричи на меня. Подумаешь, ты старше. Это еще вовсе не значит, что умнее.

Я ее очень злила, она меня не меньше. Она была кругленькая, розовая, с пышной грудью, на которую я стеснялась смотреть, но завидовала втайне.

И несколько платьев привезла с собой. А мне даже ее изношенные сарафаны не считали нужным перешивать, и я в них начисто терялась.

— Мам, ну скажи мне, почему ты так боишься ходить «туда»?

— Не твое дело.

— Мамулечка, это же очень смешно, что ты уже за два дня до твоего числа начинаешь на нас ворчать, всем недовольна, а когда приходит время идти, ты одеваешь старую страшную юбку, из своей и так уже драной и прожженной фуфайки выдергиваешь клочки ваты, чтоб торчали, и стираешь с губ помаду. Почему?

— Занимайся своими делами и отстань от меня со своими дурацкими вопросами.

— Они вовсе не дурацкие. А ты знаешь и сказать не хочешь. Ну хоть скажи, почему мы ссыльные?

— Отцепишься ты от меня, противный ребенок? Что тебе вдруг приспичило все знать! Ты что-то становишься слишком любопытной. Чем меньше будешь знать, тем лучше. Еще болтать начнешь. Смотри, доиграешься.

— До чего?

— Что на север отправят.

— За что?

— Вот за болтовню твою глупую.

— Так что же, все время молчать?

— Хорошо бы.

— Так ведь я знать хочу. И кого же мне спрашивать, как не тебя?

— Господи, я тебе все равно не могу ответить на это.

— Но никто же другой не знает.

— А ты что, спрашивала?

— А как же?! Фалина мама не знает, зачем надо ходить на отметку, а Фаля даже не знает, что такое НКВД. Так почему?

— Потому что мы ссыльные. А ссыльных надо проверять, чтобы они не убежали. Поэтому раз в две недели все ссыльные ходят на отметку.

— А они убегают?

— Не знаю. И прекрати болтовню. Делай уроки.

— Мамулечка, последний вопрос: почему арестовали папу?

— Не знаю. Значит, так надо было. Если ты и сейчас не перестанешь, отниму книжку и кушать не получишь.

Так появились проблемы. И некому было их разрешить. А самой не понять.

В школе следовало заполнять анкеты. Все дети знают, что писать, я сижу и тружусь: в графе такой-то надо писать так-то, а на этот вопрос надо писать что-то совсем непонятное и неверное, когда я очень хорошо знаю, что это вовсе не так. Например, про папу я писала: «Погиб на трудовом фронте», а сама-то я знаю, что он в тюрьме. Почему? «Так надо», — говорит мама. Или социальное происхождение — «из служащих», а я знаю, что мы были самые настоящие недобитые, недорезанные, пузатые буржуи, а никакие не служащие.

Почему, когда я в графе «национальность» написала «еврейка», мой сосед по парте как-то странно присвистнул и сказал:

— Так ты к тому же еще и жидовка?

— К чему?

— К тому, что ссыльная. Много вас поразвелось.

В Канске действительно было очень много ссыльных: из Латвии, Литвы, Эстонии, из Западной

Украины и Белоруссии, откуда-то из Молдавии, много немцев с Поволжья, татары. Были недавно сосланные и давно сосланные. Поляки и украинцы. Даже китайцы ссыльные имелись. И рассказывали, что вокруг Канска уйма лагерей с заключенными. Это называлось Канлаг. Дети узнавали друг о друге от родителей, те, в свою очередь, знакомились в очередях на отметку. Это как-то сближало и родителей и детей.

В нашу халупу иногда по вечерам собирались женщины. Сначала велись скучные разговоры о том, кто где достал что-нибудь съестное: каждая хвасталась, как ей это удалось; а потом они обязательно переходили на мужей. Некоторые о своих ничего не знали, некоторые получали письма. У многих мужья были расстреляны, иные же умерли от голода в лагерях. Кто-то писал, что хотел бы перед смертью обнять своих самых любимых и дорогих, но шансов никаких. Женщины часто плакали.

Потом начинались нуднейшие разговоры о детях.

— Вы знаете, Женя, мой Лева совсем от рук отбился. Не ребенок — дикарь. Разве об этом мы мечтали для своих детей? Грех говорить, но я иногда думаю, что моему мужу легче, что он не дожид до этого, хотя умереть в лагере тоже не лучшая доля. Но что бы он сейчас сказал, глядя на моего бандита? Он же, знаете, на меня руку поднимает. А муж собирался нашего Леву послать в Англию изучать банковское дело.

Наша мама тоже высказывалась:

— А моя младшая приходит на днях и спрашивает: «Мама, что такое блядь?» Что сказать ребенку? Я и сама себе не совсем ясно представляю, что это значит, но от этого ребенка невозможно отделаться. Она меня просто до белого каления дово-

дит своими вопросами. Как только прихожу с работы, только и слышу от нее: почему да почему? И ведь часто не знаешь, как и объяснить. А грубые обе стали — ужас. Друг на друга кричат, несколько раз дрались. Старшая-то хоть общественной работой занята и уроки делает, она вообще усидчивая, а меньшая весь день носится по улице, старшую не слушается. Она объясняет это тем, что возраст, видите ли, не признак ума и силы. И откуда ребенок только набирается такого?! За уроки ее не засадить, ей все легко дается, а учителя вечно жалуются. Знаете, стыдно сказать, но у нее в Дзержинске тройка по поведению была. Я боюсь думать, что с ней дальше будет. Мой муж тоже не такое будущее для них планировал: он ведь собирался их обеих в Париж на несколько лет послать, языки изучать.

Считалось, что я сплю. Оттого матери так откровенно болтали. Я действительно лежала в кровати, закрывшись с головой одеялом. Но как мудро я перехитрила свою мамулю! У меня в последнее время появилась страсть: книги. И вовсе неправда, что я целый день по улице носилась. Я даже иногда школу пропускала, чтобы сидеть где-нибудь в уголке и читать. Я читала все, что попадалось под руку, даже научную литературу. Тогда я прочла Фейхтвангера, Драйзера, Бальзака и Мопассана, не говоря уж о Льве Толстом, Гоголе и Чехове. Но самое большое впечатление на меня произвели книжки не те, которые можно было достать в школе или мама приносила и давала читать. Были такие, которые она тщательно от нас прятала. Это называлось «бульварная литература Рижского издательства». У книг были бесстыдные обложки: почти догола раздетые красотки, то за решетками, то на кушетках, то даже с вполне прилично одетым молодым

человеком. У меня сердце замирало при виде таких обложек. Нам запрещалось к этим книгам притрагиваться, потому якобы, что мы не умеем обращаться с ними, загибаем уголки. Но книжки сами всегда были жутко потрепанные, склеенные-переклеенные. Иногда мама даже приносила их частями. Уж как она их прятала! Но думаю, что если бы она их в колодец опускала, то мы и там нашли бы. А она иногда их просто под подушку прятала. Мама явно недооценивала нас: мы часто при ней же дрались из-за того, кто первый будет читать эти самые запрещенные книги.

Я же в своей выдумке превзошла сестрицу, и вот как. В Канске были ларьки утильсырья. Там за определенное количество тряпок, костей или металлолома можно было купить, вернее, получить (денег за утиль не давали) такие вещи, которые ни за какие деньги достать невозможно, вроде ниток мулине, или ножниц, или даже резинок, чтоб чулки не спадали. А я купила фонарик с батареей. Так как мне батареек требовалось много, а тряпок и костей дома не было, я целые дни шныряла по чужим дворам и собирала железный лом: он стоил дороже. Теперь я, как хорошая девочка, ложилась рано спать, закрывалась с головой и водила фонариком по захватывающим дух строчкам. Млела от восторга и ужаса от книжек Крыжановской, княгини Ольги Бебутовой, но больше всего страдала и радовалась с героями Вербицкой из «Ключей счастья». Героиню звали Маня.

Я часто бывала той Маней. Комнатка наша была столь крошечной, что там и шаг сделать было трудно, не наткнувшись на что-нибудь. А я, под впечатлением «Ключей счастья», дрожа от возбуждения, голая, с нашим единственным кухонным полотенцем, наброшенным на плечи, танцевала, как

«она» для «него». И наверняка умерла бы со стыда, если бы кто-нибудь застал меня за этим занятием...

Мать устроилась в промартель вязальщицей. Иногда ей давали работу на дом. Она вязала толстенные носки, рукавицы и иногда шали. Мы ей помогали. Я научилась вязать лет в десять. Потом, через несколько лет, это нам с сестрой здорово помогало: если удавалось достать заказ, мы с ней за одну ночь выделывали в две руки свитер или кофту. В студенческие годы это нас не раз спасало от голода.

Событием в жизни был воскресный базар-барахолка. Там продавалось все, что, на взгляд продающего, можно было хоть на что-нибудь употребить. Мама научилась мастерски торговаться, продавая расползающиеся старые шмотки.

— Сколько просишь за эту тряпку? — небрежно спрашивает баба.

— Что вы, это прекрасная заграничная кофточка, чистошерстяная. Прошу пятьсот, и это даром, — оскорбляется мама.

— Обалдела, баба, пятьсот за этакую рванину. Бери любую половину.

— Четыреста пятьдесят, и только для вас, потому что вы оценили вещь.

— Да ты что, чокнутая? Это ж сплошные дырки, а на двести пятьдесят ты полмешка картошки купишь.

Мать будто сникала:

— Триста пятьдесят, и ни копейки дешевле.

Сходились на полмешке картошки, да в придачу к ней — кружочек мороженого молока и головка капусты. Каждая сторона считала другую ловко обманутой.

— Ой, умора, это же была настоящая дранина. Я носила, дети носили, в руках рассыпалась, сплош-

ные узелки. Ой, не могу, я боялась, что моя «чистошерстяная кофточка» у нее в руках развалится. А теперь у нас картошки на неделю, — хвасталась мама.

Картошка была основой основ. Мы любили ее во всех видах. Но больше всего отварную, с квашеной капустой и кусочком масла. Был праздник, если мама разрешала сварить картошки вволю.

В то время была еще карточная система. По хлебным карточкам через день давали тяжелый, будто глиняный, хлеб, все еще горьковатый, но очереди были уже не такие страшные. Иногда даже мама после работы успевала получить наш кирпич. Однажды мама потеряла хлебные карточки примерно за полмесяца; после того мы ни за какие деньги не могли достать хлеба: продавать его на базаре было строго запрещено, потому что воровали хлеб все и всюду, начиная с пекарни и кончая магазинами. Даже по десяти лет давали за продажу хлеба.

Существовали еще «мясные» карточки, «жировые» и «сахарные». Мясные иногда отоваривали куском не очень хорошо пахнущей рыбы, чаще всего горбуши, соленой или полукопченной. Мы наш месячный рацион съедали в один присест, с картошкой и хлебом; на месяц на троих мы получали примерно килограмм рыбы. Мяса, по-моему, ни разу не давали. На жировые карточки получали иногда около полукилограмма какого-нибудь сала или растительного масла, а на сахарные — то вообще ничего целый месяц не давали, то слипшиеся в камень конфеты-подушечки. И только к праздникам 7 Ноября и 1 Мая — кусковой сахар, который мы рубили топором на маленькие кусочки. Вообще, жили мы вполне цивилизованно: маме даже удалось где-то достать тарелки. Мы теперь каждая

ели из своей тарелки, чем было введено равноправие. А то считалось, что раз я самая маленькая, то мне меньше и полагается, это еще когда мы в Мокром Ельнике и Дзержинске ели из одной миски. Тогда мы часто получали от мамы ложкой по лбу за то, что устраивали соцсоревнование «кто быстрее съест»...

Совершенно нет времени подумать, вечно надо что-то делать; целый день только и слышу: «Принеси воды», «Помой пол», «Отнеси-принеси», то посылают в очередь, то к кому-то. Уроки тоже иногда приходится делать, уж не говоря о том, что читать всегда хочется. А подумать — ну совершенно некогда. Единственное спокойное место — уборная. Оттуда меня достать нелегко.

Уборная стояла не очень далеко от нашей халупы и была вполне приличная, даже зимой можно было войти. Стояло это сооружение вроде скворешника в углу двора, имело дверь с крючком и маленькое окошечко в двери. А посередине помост, куда забирались с ногами, что при моем невеликом росте было само по себе довольно сложно, уж не говоря о том, что долго «заседать» на корточках тоже было не очень удобно. Но я ухитрилась даже читать в таком положении, за что хозяйка не раз жаловалась маме. У нее кроме нас было еще три семьи постояльцев, те жили в её трехкомнатном домике и иногда тоже жаждали пользоваться уборной. Удовольствие находиться там, конечно, было не самое большое: дух стоял тяжелый, выгребная яма чистилась редко, летом летали огромные зеленые мухи и копошились черви. Выгреб полагалось прикрывать щитом, но его обычно не было.

Там мне приходили в голову самые лучшие фан-

тазии. Я — большая, красивая, у меня томные глаза с поволокой и локоны, как у Шерли Темпл. Я в Париже. У меня настоящая комната, целая комната, куда никто не имеет права входить, и я могу делать, что хочу. Меня не заставляют мыться ледяной водой, мне не надо пилить и колоть дрова, не надо топить печку, а в комнате почему-то очень тепло. Верхом фантазии был туалетный столик, как когда-то у мамы, со множеством баночек, пузырьков, тюбиков и красивых флаконов. И обязательно пудреница и пушистая пуховка в ней. Я медленно натягиваю шелковые чулки и проверяю, ровен ли шов. А потом выбираю туфли, которых целая батарея и все на тонком-тонком каблуке. И ленивыми, грациозными движениями красивой щеткой вожу по локонам, спадающим пышной волной на мои оголенные плечи. Я обфукиваю себя из хрустального флакончика с желтой резиновой грушей в сеточке французскими духами «Коти», смотрю на свои миниатюрные часики. Я жду «его». На этом мои фантазии обычно обрывались, так как я не совсем ясно себе представляла, для чего, собственно, «он». Но было очень красиво, у меня билось сердце.

В тот день моим грезам помешал детский плач из соседнего дома: там были ясли. Забор был сломанный, а в нашей туалетной будке были довольно широкие щели, так что можно было заглянуть, не отрываясь от «дела», в соседний двор. Там носились щенята.

«Шлеп!» — я успела разглядеть черный мохнатый комочек, промелькнувший подо мной, и тут же — что-то барахтающееся в выгребной яме. Меня как ветром сдуло. Первое попавшееся на глаза орудие были вилы. Ими я и выловила из ямы с «золотом» это «что-то». Это было уже не черное и не

лохматое, а жалкое и вонючее. Но живое. Я была счастлива.

То был Джек. В честь Джека Лондона, которым я в то время увлекалась.

Господи, сколько надо было сделать дел до маминого прихода: помыть, высушить Джека, придумать уйму вранья, вообще морально подготовиться.

Едва войдя в комнату, мама потянула носом. Подозрительно взглянула на меня. Я, как хорошая девочка, делаю уроки. Вежливая. Еще подозрительнее.

— Отчего так воняет?

— Где, мамочка, воняет?

— В комнате.

— Что ты, мам, не может вонять, видишь, я даже пол помыла, видишь, еще сырой, видишь, я уроки делаю.

— С чего ты вдруг пол мыла сегодня?

— А мне показалось, что он грязный. Хочешь кушать?

— Конечно. Но чем все-таки воняет, скажешь ты мне наконец?

— Это тебе кажется. А может, уборную приезжали чистить? О, конечно, я видела, дядька с тем вонючим ящиком тут был.

— Дочь, по глазам вижу, врешь. Кроме того, на улице не пахнет.

Мама пошла раздеваться за печку, а там, на нашей кровати, завернутый в наше единственное кухонное полотенце, лежал и дрожал Джек, потому что я не успела согреть воды и искупала его в холодной. Надо же было его завернуть после такой бани, а то он бы простудился.

Я успела проскочить за печку раньше мамы и стала помогать ей раздеваться.

— Боже мой, что это такое?!

— Мама, это Джек,— сказала я почти твердо.

— Кто?

— Джек. Мой Джек. Наш Джек.

— Чей?

— Мамусечка, он такой чудненький, это просто прелесть, ты сама увидишь, когда можно будет его развернуть. Он сам черный, грудка и все лапки белые, и, мам, ты только подумай, кончик хвоста тоже белый.

— Перестань молоть. И сейчас же вон. Нам в доме только собаки не хватает: самим повернуться негде и есть нечего. Господи милостивый, мое единственное полотенце! Мерзкая девчонка! Я трясусь над ним, посуду нечем вытереть, а эта негодяйка такую пакость завернула. Вон, сейчас же, чтоб духу вашего не было. Марш!

Я взяла с кровати Джека, развернула его. Он дрожал и вонял. Мама была права. Но у него были такие доверчивые коричневые глазки, он смотрел на меня с такой любовью, и нос у него был мокрый, а сам он весь черный и лапки белые.

— Хорошо, мам, мы уйдем.

— Немедленно, чтоб духу не было. И проветрить хорошенько.

Я надела пальто, не выпуская Джека из рук.

— А ты куда?

— Ты же сказала, чтобы Мы ушли.

— Я тебя спрашиваю: «А ты куда?»

— Я — с Джеком.

— Люди добрые, как эта мерзкая девчонка еще не свела меня в могилу?! Ну что мне с ней делать?!

— Разрешить Джека.

— Ни в коем случае. Мало блох от твоей кошки? И уж не думаешь ли ты, что собака будет ловить мышей и птиц, чтобы прокормиться? Собаку надо кормить.

— Я знаю. Но мы уйдем, и, мамочка, ты себе только представь, что нам обоим придется ловить мышей и птиц и мы можем умереть от голода и от холода. Где мы будем жить? Кто нас, таких маленьких, впустит?

Мы стояли уже во дворе. От Джека тут почти не воняло.

— Скажешь ты мне, может быть, почему твой Джек так воняет?

— Ура, мой Джек! Женечка, миленькая, все расскажу, только не сердись.

— Что мне с этим наказанием делать?

— Оставить Джека, полюбить Джека, разрешить Джека.

— Хорошо. Но теперь слушай: чтобы в дом — ни-ни. И с хозяйкой ты сама объясняться будешь: она собак не любит. И если я хоть раз увижу, что ты не делаешь уроки, а играешь с Джеком, он вылетит как миленький. И, пожалуйста, не думай, что я разрешила потому, что ты занимаешься шантажом.

— Чем?

— Шантажом. Это когда ведут себя, как ты сейчас.

— Ура, мамулечка, я все буду делать, как ты прикажешь, и не буду вести себя шантажно.

— Так вот, водвори куда-нибудь эту вонючку, и давай проветрим комнату...

Так стало в нашей халупе шестеро обитателей: нас четверо, кошка Юки и мой любимец Джек. Но Юки днем чаще всего была на охоте, а ночью спала у меня в ногах. Джек, наоборот, бывал дома только днем, пока мама на работе, а ночью спал сначала в сенях, а потом мы с сестрой соорудили ему будку около входа. Он вырос не очень большой, но красивый, добрый, веселый, не какой-

нибудь там породистый спаниель, вроде Шерри, но в общем-то был даже похож немного на сибирскую лайку, если хорошо присмотреться. И мама его тоже любила, хотя частенько шан-та-жи-ровала меня из-за Джека.

Маме, конечно, приходилось намного труднее, чем нам: сплошные заботы с утра до вечера. Проблема: валенки. Стоили они очень дорого. Мы из них вырастали. Подшить их тоже целое событие. Пока валенки подшивают — нечего надеть, а без валенок даже в небольшой, пятнадцатиградусный мороз выходить невозможно. Летом проще: бегали босиком. Но в школу надо было ходить и одетыми и обутыми. А из одежды мы тоже вырастали. Я хоть обноски сестринские носила, а ей (стыдно какой!) уже бюстгальтеры приходилось покупать. И прокормить нас тоже было нелегко. Спасали нас и здесь посылки от маминой сестры из Палестины. Она посылала кофточки шерстяные, костюмы, туфли. Одна такая посылка в полгода — и мы были сыты. У мамы даже постоянная клиентура завелась; в основном это были жены офицеров из военного городка, жены начальников из Канлага, продавщицы из магазинов и еще какие-то, кто что-то где-то доставал, воровал и перепродавал. Иногда эти дамы приходили смотреть вещи домой. Мы всегда перед их приходом скребли пол и стирали занавески. Но они редко присаживались, чаще торговались стоя. И если торги бывали успешными, мы с мамой отправлялись в военный городок или еще куда-нибудь и там нам отпускалось выторгованное добро: мука, картошка, селедка, иногда масло, а иногда и полбанки американской колбасы. Это было что-то неопишимо вкусное. Иногда маме уда-

валось получить в придачу пачку махорки. Вообще, курево, пожалуй, единственная проблема, которая коснулась только ее, хотя мы и в этом принимали участие. Мама добывала где-то табачные стебли по очень дешевой цене, сушила их, и мы помогали их крошить. Дым от них был зверски едкий, но мама, свернув толстенную самокрутку из газетной полоски, наслаждалась курением, заходясь в кашле. Сколько всяких ухищрений она предпринимала из-за табака: она его даже сама пыталась выращивать, но из этого ничего не вышло — было холодновато. Она меняла вещи на табак, выпрашивала табак, даже свой паек хлеба иногда продавала за табак. И газеты на закрутки еще приходилось покупать. И не дай нам Бог было цапнуть кусок газеты для более прозаических целей. Мама еще в Дзержинске учила нас пользоваться лопухами и другими листиками, растущими по дороге в «заведение». О туалетной бумаге мы понятия не имели, и мама всегда ворчала: «Подумаешь, принцессы, вам что, листок трудно сорвать? Не смейте брать мои газеты!»

Наша семья, видимо, родилась под счастливой звездой: нам часто везло. Внезапно нашелся какой-то папин племянник, который зимой 1946 года вдруг прислал телеграмму, что будет проездом в Канске.

Поезд прибывал ночью. Мы с мамой, замирая от страха, в сильнейший мороз поскакали на станцию: километра три от дома. В то время в городе орудовали всякие банды: «Черные кошки», «Рыжие кошки», всякие «Собаки», в общем, бандитов и грабителей была уйма. А то еще часто на постой ставили всякие штрафные армейские части, которые тоже бесчинствовали. То и дело рассказывали, что кого-то там убили, кого-то ограбили. Мы с ма-

мой бежали вприпрыжку, поминутно оглядываясь. Если издали показывалась фигура, мы замирали, как две собаки в стойке, вращали в забор, пережидали и, клацая зубами, бежали дальше. Поезд опаздывал. Станция была закрыта. Мы окоченели, терли друг другу белеющие носы и прыгали, как два зайца.

Потом пришел воинский эшелон. Мимо нас медленно проползали полузакрытые теплушки, слышался смех, песни, игра на гармошке. Мы с мамой были единственными на всем перроне. Нас окликали из теплушек, приглашали ехать. Мама испуганно озиралась. Потом поезд остановился, и в раздвинутой двери вагона появился папин племянник, бодро прокричал нам, что он отвоевался, разбил немцев и японцев и едет домой, в Ригу, чтоб сменить военное обмундирование на штатскую одежду. Мне показалось, что все в этом эшелоне были пьяные и папин племянник тоже. Он успел сказать также, что его мать — папину сестру — немцы убили, тетю — вторую папину сестру — тоже. А потом, когда поезд уже тронулся, в нас полетели свертки. Я еще немного пробежала рядом с его вагоном, и он снял с руки часы и тоже отдал мне.

В свертках оказалось несколько отрезков какого-то дивного шелка, которые мама продала очень удачно в военном городке. И часы она выменяла очень удачно...

На следующий день я, пожалуй, впервые в школе чувствовала себя почти равной со всеми и будто небрежно, но лопаясь от гордости, рассказывала, как мы ночью встречали двоюродного брата, офицера, которому так шла его форма, что жаль, когда он наконец-то, после всех героических лет, переоденется в штатское. И дома только и разговоров бы-

ло, какие мы везучие, даже неудобно, что одним так везет, а на других такое счастье не сыплется... Мама сразу принялась петь, баловать нас. Мы с Джеком носились наперегонки и лаяли, а вечером пили чай с самодельным кексом из почти белой муки и яичного порошка. Мама даже посылала меня с куском кекса к одной старухе, у которой никого нет, даже чаю подать некому, «не то чтобы снять с руки часы и отдать...».

У меня завелась подружка, Галя Владимирова, умненькая, красивая девочка с зелеными глазами. У них был большой дом из красного кирпича, с добротными ставнями и высоким забором; во дворе на цепи бегал злой пес, которого ночью спускали с привязи. У Гали на окнах были тюлевые, а не марлевые, как у нас, занавески. Я за все время своей канской жизни, кроме как у Гали и еще у одной девочки из класса, ни в одном доме дальше кухни не была. Тут все жили за высокими заборами, на цепях бегали собаки, замки навешивались даже на калитках, и ставни уже рано вечером закрывались. И люди были не такие приветливые, как, скажем, в Дзержинске, уж не говоря про Мокрый Ельник. Там и гостинцы нам совали, и молочка попить давали, если придешь, и заборов не было вообще, и к нам приходили гости посидеть вечером, поговорить с мамой; а тут, кроме ссыльных, к нам никто не ходил, и маму тоже не приглашали. А такую уймаищу пьяных я никогда до этого не видела: около базара, у пивного ларька, хотя пива никакого там не было, валялись, особенно в базарные дни, вдребезги пьяные не только мужики, но и бабы. На самом же базаре часто дрались, ругались. А уж воровали самым наглейшим образом: прямо из рук вырывали, если зазеваешься. Когда я в деревне или в Дзержинске ходила за

молоком, мне всегда наливали чуточку побольше, так, что можно было отпить глоточка два-три. Тут у всех теток руки тряслись, и мама часто меня спрашивала, сколько я отпила, хотя я вовсе не дотрагивалась: просто хозяйки жадничали.

Я всегда у Гали в доме немного побаивалась: у них было очень чисто, какие-то игрушки фарфоровые стояли, уборная была пристроена прямо к дому, только в сени надо было выйти. Для умывания у них существовало какое-то хитрое приспособление, вроде рукомойника, но воду не надо было наливать кружкой, как у нас, а она будто сама поступала. Мы же только в Канске обзавелись рукомойником, до этого или просто поливали друг другу на руки, или набирали в рот воды из кружки и потом лили себе на руки. Поэтому я так ненавидела умываться зимой: у меня от ледяной воды зубы ломило, а мама заставляла мыться каждое утро.

Сестра занималась общественной работой: «активистка». Ходила на комсомольские собрания, на заседания комитета ВЛКСМ, куда ее избрали, ходила на воскресники по сбору металлолома и, к моему удовольствию, редко бывала дома. Вообще, хотя разница между нами меньше двух лет, она и ее одноклассники по сравнению со мной были очень серьезные и вели себя как взрослые. У них были секреты. При мне они обычно шептались.

Моя сестра и здесь обзавелась другом. Он мне очень нравился, но я старалась попадаться ему на глаза как можно реже; он и за человека меня не считал: щелкал по носу, дергал за косички и вообще смеялся надо мной. И это неудивительно: сестра была такая солидная, серьезная, а я — пу-

гало огородное, вертлявое, любопытное и плоское, как доска. Я себе тысячу раз давала клятвы не корчить рожи, не свистеть в четыре пальца, не драться с мальчишками, не играть в чехарду и чикку, научиться красиво ходить, а не прыгать, как козел, — в общем, быть такой, как моя сестра. Я даже училась вращать глазами, как она, чтобы выразить свое презрение. И мне очень хотелось относиться серьезно к домашним заданиям.

Сестрица с другом, чтобы готовиться к урокам и экзаменам, уединялись на сеновал — я им, видите ли, мешала. Иногда она мне объясняла, какое я ничтожество. «Хорошо учиться — долг каждого комсомольца». Я была с ней согласна, мне только не нравилось, что у комсомольцев слишком много этих «долгов»: их посылали в колхозы копать картошку — «долг», воскресники — «долг», дежурить в школе — «долг», участвовать в кружках — «долг», даже петь в хоре — «долг». Сестра этим гордилась, я же ее раздражала.

— И в кого ты такая дура уродилась?

— В тебя. Только на тебя все мое мясо пошло.

— И как тебя только земля носит?

— Меня не трудно носить, я тощая, а как ты сквозь землю не провалишься — не понимаю.

— Хотела бы я знать, что из тебя вырастет? Кочегар, наверное. И то я бы тебе лопату не доверила. Учиться не хочет, попросишь что-нибудь принести — не хочет, попросишь не шуметь — не хочет. Вечно толчется под ногами. Чтоб не смела за мной шпионить! Нечего подглядывать, когда мы готовим уроки на сеновале, еще раз увижу — скажу маме.

— А я скажу, чем вы там занимаетесь.

— Идиотка. И если ты еще раз засунешь нос к нам в класс, я тебе его прищемлю. Думаешь, я

не знаю, из-за кого ты к нам лезешь? Уж не думаешь ли ты, что ты им нужна?

Я краснела и замолкала. «Как она догадалась?» «Они» — это были два брата-близнеца из ее класса, Женя и Володя. Я к ним действительно была равнодушна, хотя отличить одного от другого не умела. (Потом-то это оказалось очень просто...) Они жили за рекой, в домах текстильного комбината. Я дома про их мать слышала всякие сплетни, что она как-то там «сошлась» с инженером с комбината, хотя Женин и Володин отец куда-то «исчез». Моя мама ее осуждала и, поджимая губы, говорила, что «конечно, с двумя маленькими детьми не так-то легко остаться честной».

И вовсе не права была моя сестрица, что они меня не замечают: кто-то из них, кажется Володя, даже танцевал со мной на вечере для старшеклассников, куда мне удалось проникнуть. Я сгорала от стыда и лопалась от гордости: первый в жизни танец я танцевала с мальчиком, в то время как почти все девочки танцевали друг с дружкой. Только те мальчик и девочка, что дружили, танцевали друг с другом.

Школьные вечера были огромным событием. Сначала полагалась лекция, чаще всего о международном положении. Для этого приглашали лектора из райкома партии. Лекция продолжалась час-полтора. Причем на лекции обязательно надо было присутствовать, иначе на вечер не пустят: двери закрывались на ключ точно с началом лекции. После лекции был концерт самодеятельности: пел хор, читали стихи, пели солисты. Я тоже записалась в хор, в основном для того, чтобы иметь возможность проникать на вечера: голоса у меня никакого не было. Но его особенно и не требовалось, потому что пели мы чаще всего песни о Стали-

не, а их надо было петь как можно громче. Зала в школе не было, устраивалось все в коридоре, где было темновато и очень холодно. Сидели в пальто и шалях, на ногах валенки. Потом стулья и скамейки сдвигали, ответственный комсомолец крутил патефон, и начинались танцы. На ноябрьский и первомайский вечер приглашали гармониста.

Сердце у меня скакнуло в горло и там застряло, когда на мой первый в жизни танец вдруг меня пригласил то ли Володя, то ли Женя. Играли фокстрот. Патефон пел: «Лизонька, я всерьез задал тебе вопрос: ты меня полюбишь или нет?» Шаг вперед, шаг в сторону, шаг вперед, шаг в сторону. Ноги не сгибались, руки как деревянные и дрожат, и одна только мысль: «Господи, только бы своими валенками не зацепиться за его валенки и не упасть». Но пронесло. Оказалось, что это был Володя. После вечера он проводил меня домой, и я впервые пожалела, что мы живем так близко от школы. Мне кажется, я в него влюбилась, и с тех пор я стала близнецов различать, хотя они дурачили всех своим сходством.

Через несколько лет мы встретились с Володей в Москве. Он учился в институте, Женя тоже. Но разница в них все же сказалась: Володя сменил фамилию и отчество. Стали они у него еврейскими. Оказывается, его мать отказалась от мужа, когда того арестовали, вышла замуж за того инженера в Канске и даже сыновьям сменила фамилии на очень русские. Женя так и остался, а Володя стал Владимиром Абрамовичем Корнфельдом.

А тогда, в Канске, когда мне было тринадцать лет, Володя частенько провожал меня домой. Мы проходили мимо здания НКВД, куда мама так боялась ходить. Тогда я его как-то не замечала. Только

через несколько лет, когда меня полуживую выносили из этого здания, я машинально отметила, что вот ведь как оно близко от моей бывшей школы.

Сестра прокляла тот день, когда дала мне рекомендацию для вступления в комсомол, куда меня приняли в общем-то по блату, потому что мне было только тринадцать лет, а по уставу принимали в члены ВЛКСМ с четырнадцати. Она искренне считала, что таких, как я, следует расстреливать. Я ее очень раздражала.

— Если ты такая великая коммунистка, объясни мне, что такое «по принципу демократического централизма», — цеплялась я к ней, хотя меня этот принцип вовсе не интересовал, но для вступления мне следовало выучить весь устав ВЛКСМ наизусть, от корочки до корочки.

Она терпеливо повторяла слово в слово, как написано в уставе.

— Как это «выборность снизу доверху, а отчетность сверху донизу»? Хоть режь, не понимаю, а ведь должен быть в этом какой-то смысл, — упиралась я.

— Он и есть, но не для таких пустых мозгов, — упиралась и она.

— Так ты разъясни мне с помощью своих полных. Что такое принцип?

— У каждого человека должны быть принципы. Все коммунисты — принципиальные люди. Например, они живут по социалистическому принципу: «От каждого — по способности, каждому — по труду». Дошло?

— Нет. Ты при всех своих способностях только еще больше запутываешь меня этими своими «каждому», «от каждого». А что такое «все равны»?

— До чего же ты дура! У нас в стране все равны, а ты спрашиваешь такую чепуху. Что тут непонятного?

— И мы равны?

— А как же?

— Так почему же мы живем в этой противной халупе, где мне приходится уроки делать на кровати, а Галя Владимирова живет в кирпичном доме, да еще за кирпичным забором? А почему Левка бросил школу из-за того, что ему не в чем ходить, и папа его умер в лагере, а твой раскрасавец Володя Коломийцев ходит в хромовых сапожках, потому что его папа прокурор? И почему нас все время грозятся сослать на север? А, буркалами завращала, сказать нечего!

— Есть, но с такой гадиной лучше не связываться.

В члены ВЛКСМ меня приняли. На приеме я очень гладко протараторила про обязанности комсомольца и про всякие принципы.

В Канске оставаться мне не хотелось, тем более что и Володя с Женей уезжали в Москву. И вдруг появились слухи, что общество Красного Креста прибалтийских республик собирает в Сибири детей ссыльных, умерших или находящихся в заключении и размещает их по детским домам этих республик или отвозит детей к родственникам, если те пожелают их принять. Распространялось это на детей до шестнадцатилетнего возраста. Я подходила по всем статьям: папа — в заключении, есть родственники. Следовало только узнать, изъявят ли эти родственники желание принять меня. Мама была уверена, что папин брат в Москве откажется после неудачного опыта с моей сестрой. Была еще тетя — мамина сестра в Каунасе. Я вдохновенно уговаривала маму отпустить меня по-хорошему,

там, мол, на месте, я сумею произвести впечатление на родственников. А уж отправить обратно им меня не удастся.

— Не отпустишь по-хорошему — сбегу или повешусь.

— Да на тебе никакая петля не затянется, веса-то нет, — отшучивалась мама.

— Это потому, что вы изводите меня своими нравоучениями.

— А ты считаешь, что ты и без нас все знаешь?

— Нет, но я часто делаю назло потому, что целый день только и слышу, что я идиотка, сую нос не в свое дело, хожу не так, говорю не так, и даже ты жалуешься, что я сплю не как человек, а только пинаю тебя ногами. Так я хочу спать одна. И отпусти меня, пожалуйста.

Завязалась родственная переписка. Тетя в Каунасе немедленно согласилась взять меня, дядя из Москвы ставил какие-то моральные условия. Меня тянуло больше в Москву, я соглашалась на любые условия.

Но пока велась переписка, миссия Красного Креста закончилась. Оказывается, мама об этой миссии знала очень давно, с самого начала, но тогда и не помышляла меня отпускать. Пришлось теперь искать другой способ отправки. Никакого решения для меня от НКВД не требовалось: я подходила под «отпускаемую» категорию, и к тому же дети не состояли на спецучете.

Из Дзержинска внезапно приехала наша бывшая соседка, тоже ссыльная, с сыном. Ей разрешили самой отвезти сына в Ригу к сестре, которая пользовалась чьим-то могущественным покровительством. С ними я и должна была доехать до Москвы. Но им прислали билеты на поезд, а у меня его не было, достать же в Канске билет на

проходящие очень редко поезда не было никаких шансов. Но мы решили рискнуть.

Мама как угорелая носилась вдоль поезда и «за любые деньги» уговаривала проводниц взять ребенка. Поезд стоял всего пять минут. Согласилась проводница того вагона, в котором ехали наши друзья. Ни с мамой, ни с сестрой я не успела попрощаться. Меня с вещами засунули на третью «нежилую» полку, за гору пыльных матрасов, и велели не подавать признаков жизни, пока не позвонят. Как мышь лежала я в пыли, прижавшись к горячей трубе, и дрожала от возбуждения. Я пролежала там восемь часов и за все время не чихнула и не шелохнулась. Только «маленький» грех со мной приключился, но положение было безвыходным: уж лучше полежать в сырости, чем быть ссаженной с поезда. Разрешили мне спуститься только за Красноярском. Проводница принесла билет «Красноярск — Москва», и я из зайца превратилась в пассажира.

Я думала, глядя в окно. Прошло ровно шесть лет с тех пор, как нас в теплушках везли по этой же дороге. Мы не знали, куда нас везут, за что нас везут. Тогда я выучила свое первое русское слово «бички», и конвой кричал: «По вагонам!» А теперь я еду как барыня в столицу нашей родины — Москву, да еще по взрослому билету. Я казалась себе очень умной, самостоятельной, настойчивой и гордой, правда, на вид малость некачистой, но это не так уж и важно. Зато — полной надежд.

ДЕЙСТВИЕ II

Москва - Каунас



Москва



Дядя повез меня с вокзала на такси. Москва ошеломила, изумила, потрясла. Но добила меня дядина комната. Я знала, что он работает в министерстве, но что всего два человека могут жить в такой шикарной комнате, мне в голову не приходило. Комната была метров двадцати, с большим, выходящим во двор окном. На письменном столе стоял телефон. У тети был настоящий туалетный столик и на нем всякие баночки, флаконы. Дядя с тетей спали на красивой никелированной кровати. Меня поместили на кушетку. Посреди комнаты — обеденный стол со стульями. Огромный буфет, дверцы которого, правда, из-за нехватки места настееж не раскрывались. И еще платяной шкаф стоял в комнате.

Тетя мне очень понравилась. Я всеми силами старалась произвести хорошее впечатление и помнила все мамины наказания: не корчить рожи, не перебивать взрослых, не высказывать первой свое мнение, ничего не просить.

Квартира была не очень большая: всего пять семей вместе с дядиной. Но не все жили так шикарно, как дядя. В одной семье было трое детей и

отец-инвалид; вот у них было тесно, почти как у нас в Канске или в Дзержинске.

Уборной пользоваться я боялась: мне казалось, что, если я потяну ручку как-нибудь неточно, вода побежит через край и будет потоп. Поэтому, когда рядом в кухне никого не было, я быстренько приносила в кружке воды и считала, что этого достаточно, вместо того огромного количества, которое расходовалось в общем-то совершенно зря. Но вскоре соседи пожаловались тете, и она мне объяснила, что следует все делать как положено. Она же учила меня умываться по утрам над раковиной в общей кухне, куда все жильцы приходили со своей мыльницей, зубной щеткой, зубным порошком и полотенцем. А то я по привычке чуть-чуть только плескала себе для видимости водички на лицо и на руки и в таком мокром виде бежала по всему длинному коридору в комнату и только там хватала чье-нибудь полотенце, что мне тоже строго-настро-го запрещалось. А у меня до этого будто никогда своего личного полотенца не было,— все, что было до Сибири, я забыла напрочь.

От телефонных звонков я еще долгое время под-скакивала в страхе, а первый обед у дяди с тетей на-долго лишил меня покоя. Сначала тетя попросила меня накрыть стол и объяснила, что где находится. Я все нашла, но понятия не имела, для чего оно нужно. Она мне показала. Было очень красиво, но совершенно излишне: зачем, к примеру, мне сал-фетка? Или для чего каждому и ложка, и вилка, и еще нож? Ложкой я орудовала вполне умело, хотя тетя сказала, что не следует засовывать всю ложку в рот, а есть только с кончика. Я подумала, что бы она сказала, если бы видела, как я заталкивала в рот здоровенную деревянную ложку в деревне? И как бы ей понравилось есть, как едят в деревне:

все из общей деревянной миски и только ложками — и щи, и картошку, и кашу. А мама нас стучала своей ложкой, когда мы устраивали за столом драку.

Тетя мне показала, как правильно держать вилку. Нож я тогда не освоила. Обед вообще был изумительный, я до этого такого не ела. Был даже компот.

А потом мы пошли любоваться Москвой. У Чистых прудов дядя купил мне мороженое, сказал этак игриво, что его называют «г» на палочке (то есть говно на палочке). Вовсе оно было и не «г» и не сплошная вода, как сказал дядя, а сладкое, вкусное и очень красивое. Они уж очень были избалованы.

Теперь я поняла, почему моя сестрица так любила Москву. И я хитренько подумала: «Шиш, уж про меня они не подумают, что я в подоле кого-нибудь принесу, не на такую напали. Уж я-то удержусь в Москве».

Но возникли проблемы: в Москве нельзя жить без прописки. А для прописки нужны очень убедительные причины. У меня таковых не имелось. Дядя сходил в милицию и принес несколько бланков для заполнения. Как во всех анкетах, место рождения и социальное происхождение — пункты, которых дядя боялся: это могло вредно отразиться на его служебном положении. Конечно, он хоть и не очень ответственное лицо, но племянницу с такой анкетой лучше не иметь. Со школой тоже возник конфуз: в этом Щербаковском районе была образцовая школа для девочек. Положение трудное: учиться полагается обязательно по месту жительства; живу я как раз в этом районе, значит, могу учиться только в этой школе. А они не хотели меня принимать, потому что документ об окончании

седьмого класса, да еще с четверкой по поведению, был выдан в далекой Сибири, а это, видимо, звучало не очень подходяще для подобной школы. В общем, они меня не хотели принимать. Тетя считала, что я бы все равно не удержалась в этой школе. Я думаю, она была права, я действительно не умела себя вести. Это я тоже весь день от нее слышала. И куда делись все мои обеты? Я же собиралась быть благоразумной... Вместо этого я еще пускалась в долгие споры с тетей.

— Почему ты не можешь привыкнуть вешать свои вещи в шкаф?

— Потому что у нас не было шкафов. У нас все лежало на кровати или табуретке, а вещи вообще были в чемодане под кроватью. Как же мне было привыкнуть к шкафам?

— Посуду после мытья следует вытирать специальным полотенцем, я ведь тебя просила.

— Для чего? Я понимаю, мы у себя там вытирали, так это потому, что мы ее не полоскали, воду грели только для очень грязной посуды да когда пригорит или засохнет. А тут и моешь ее хорошенько в теплой воде, да столько воды потрачено на полоскание. Посуда блестит, как стеклышко, а еще вытирай: полотенце жалко, стирать его скорее придется.

Почему ем котлеты ложкой? Почему не пользуюсь салфеткой и так некрасиво вытираю рот ладонью? Почему все же не спускаю воду в уборной? Почему стучу дверь? Почему всегда, когда снимаю телефонную трубку, дико кричу? Что это за манера съезжать по перилам?

У тети возникали сплошные «почему», а я на все находила, на мой взгляд, вполне разумные разъяснения.

А потом пришло письмо от мамы. Мне отдали

его только вечером, когда дядя пришел с работы. В открытом виде. А на конверте было написано, может, просто в шутку, что оно л и ч н о мне, даже подчеркнуто. Читая, я все время думала, как бы приличнее спросить, кто же посмел открыть м о е письмо?

— Оно пришло открытое?

— Нет, я открыла,— сухо ответила тетя.

— Зачем?

— Разумеется, чтобы прочитать.

— Так оно же мне написано.

— Ну и что же? Уж не думаешь ли ты, что ты уже настолько взрослая, что и контролировать тебя не надо?

— Нет, не думаю. Но не думаете же вы, что следует контролировать мои отношения с мамой? Из-за них я уж точно никого не принесу в подоле.

Тетя покраснела, дядя насупился, я испугалась.

Вскоре за мной из Каунаса приехала двоюродная сестра.

Каунас



Каунас — не Москва... Ни трамваев, ни троллейбусов, ни метро. Но шикарная, четырехкомнатная квартира с ванной и без соседей, добрейшая смешливая тетушка, славный дядя, который, как потом выяснилось, был вовсе не тетиным мужем, а сначала приятелем, а позже мужем тетиной дочери, следовательно, моей двоюродной сестры.

Для меня была приготовлена отдельная, совсем крошечная комнатка за кухней, где до этого держали дрова. Вмещалась только узенькая кушетка, крохотный столик и табуретка. И полка для книг висела. И вазочка с цветами.

Я была счастлива. Все шло как по маслу: безо всяких хлопот приняли в единственную русскую женскую гимназию, в пятый класс, что соответствовало восьмому классу школы. Относились ко мне хорошо и дома и в школе, еды было много, и все было очень вкусное. Чуть трудно было вначале с литовским языком: в классе все уже читали, писали, стихи вслух разучивали, а я алфавита не знала. Но научилась быстро. Готовить уроки по литовскому языку мне помогала тетина домработница Юля; она, правда, была полуграмотная, но кое-что все же знала.

Мне повезло во всех отношениях. В 1947 году, через несколько месяцев после моего приезда, произошли события: денежная реформа и отмена продуктовых карточек. Реформа — чепуха: у кого было десять рублей, у того теперь рубль. Но по каким-то непонятным мне причинам из-за этой реформы несколько человек в Каунасе покончили жизнь самоубийством. Зато отмену карточек я оценила сразу: в доме стало еще больше всяких вкусных вещей. Меня ежедневно после обеда посылали в кафе «Тулпе» за пирожными. Как лису за цыплятами: я слизывала, вытаскивала и выгребала из пирожных по дороге все, что удавалось, так, чтобы пирожное только не развалилось. И полагаю, что мои родичи догадывались: вид после моей отделки у пирожных был жалковатый. Но честь им и слава — мне не попадало. И когда из-под моей подушки незаметно выгребали запасы хлеба, сахара, конфет и печенья, которые я заготавливала, памятуя, что всякое в жизни бывает, — мне тоже никто не делал внушений. Просто тетя тихонько выбрасывала это добро и преспокойно ждала, когда у меня пройдет страх перед голодом.

Гимназия была близко от дома и расположена презабавно: две стороны смотрели на улицу, две других — на кладбище. Оно являлось несчастьем для учителей и радостью для школьников. На этом кладбище я познала свой первый поцелуй...

Мы учились в две смены: утром девочки, после обеда — мальчики. Местных русских в школе было мало, в основном учились дети офицеров гарнизона пограничных войск. Солдат в городе тоже было много, но им не разрешалось перевозить сюда свои семьи. Когда какая-нибудь девочка-одноклассница приходила ко мне, в мою комнатку за кухней,

домработница Юля демонстративно громыхла посудой на кухне и пела дурным голосом по-польски и по-литовски. Ее ненависть к родителям переносилась и на детей: она считала их оккупантами. Она помогала мне в изучении литовского, но обычно это сводилось к примерно такой беседе:

— Паненка, что вы мне крутите голову про советскую власть? Я ее просила сюда? Нет. Кто-нибудь другой ее здесь хочет? Нет. Вы мне говорите, что жить стало лучше. Кому? Оккупантам и вот таким цацам, которые к вам приходят. Я в пивной работала и то не такая нахалка была, как эти. Может быть, вы думаете, что нам было плохо? Нет, вот при Сметоне...

И начиналось длинное повествование, как хорошо жилось Юле при Сметоне. Она не какая-нибудь там жирная барыня была, нет, что вы, она подавала пиво и мыла посуду в пивной. Но было у нее все, что человеку надо. Захотела — поехала к брату в Польшу, захотела — поехала с приятным человеком в Ригу. А что сейчас? Это нельзя, другое нельзя, за это могут посадить, за другое — еще хуже, сослать в Сибирь.

— Вы знаете, паненка, что такое Сибирь? Нет? Так я вам расскажу, что оттуда еще никто не вернулся. Мне не нужны их глупые фильмы, меня не надо учить, что для меня хорошо. Я люблю пошутить, поплясать. Я люблю, чтобы можно было вечером зайти в пивную и поговорить обо всем, что придет веселому человеку в голову. А теперь все говорят: «Держи язык за зубами». И эти сто бумажек, которые для кого-то надо заполнять, да еще по-русски. Зачем? При Сметоне не было никаких бумажек, денег платили больше, все было дешевле, и все были довольны. Вот. А вы мне говорите, что лучше жить. Ах, паненка, вы еще молодая, и

мне вас жалко: у вас никогда не будет самого главного для человека — свободы.

С ним мы встретились на широкой школьной лестнице. Я впервые глубоко заглянула мужчине в глаза, замерла в них и утонула. Глаза были серые, очень красивые.

Это случилось в день моего рождения. Мне подарили толстую тетрадку, и я решила в честь этих глаз начать вести дневник. Мне в тот день исполнилось четырнадцать лет, мужчине было пятнадцать. Звали его Глеб. Как потом выяснилось, мои глаза тоже показались ему серыми и красивыми. Нас познакомили.

Он жил в интернате; туда принимали детей офицеров, расквартированных в разных районах Литвы, где не было русских школ. Я завидовала интернатским: они дышали с ним одним воздухом...

Мы виделись почти ежедневно, но всего несколько минут. Меня держали в ежовых рукавицах: «Позже восьми домой не являться». Я знала, что являться надо точно, иначе придется сидеть на лестнице. Но дважды в неделю я ходила заниматься гимнастикой в Дом офицеров. В эти дни Глеб провожал меня домой. Если мы случайно встречались в школе на лестнице, когда кончалась одна смена и начиналась другая, у меня краснели даже ладони, я моргала слезящимися глазами, бормотала какую-нибудь чушь и проходила мимо на ватных ногах. А сердце еще долго, могуче билось в груди. Я была влюблена навеки.

Его социальное происхождение было явно лучше моего: его папа был начальником НКВД в городке Мариямполье, в нескольких часах езды от Каунаса. Но меня даже это не пугало. У них есть

личный шофер, который приезжает за Глебом по субботам — иногда на «виллисе», иногда на папином трофейном «мерседесе». Это мне даже нравилось, несмотря на Юлину теорию об оккупантах. Я только смертельно боялась, что когда-нибудь он и меня попросит рассказать о своей жизни, о моем папе. От одной этой мысли я краснела: «Боже, как посмею я врать любимому существу, самому дорогому на свете?» И у меня выработался «инстинкт опасных тем»: как только разговор заходил о доме, не важно — чьем, о родителях, не важно — чьих, я ловко меняла тему, и надо сказать, это мне удавалось: он обо мне так ничего и не узнал. Я даже думаю, он не знал, что я еврейка. Это при его социальном положении могло оказаться весьма неподходящим.

Но мы расстались... Он заболел, родители увезли его в Мариамполь. За два месяца болезни он очень отстал от школьной программы и решил пока в школу не возвращаться, так как на следующий год все равно пойдет в предыдущий класс.

Я страдала безумно. Ночью я подолгу смотрела на звезды и мечтала, как мы все-таки, несмотря ни на что, встретимся, возьмемся за руки, я заставлю себя не быть такой жутко стеснительной, я, может быть, даже похорошею и хоть чуть-чуть потолстею, я, может быть, даже скажу ему, как он мне нравится, а он (тут я начинала дрожать), а он меня, возможно, поцелует в щеку.

Свой дневник я вела старательно; ежедневная запись начиналась словами: «Я его люблю. Навеки».

Подружки устроили сюрприз: мы встретились с ним на Новый год. Я никому, кроме дневника, не поведала о своих страданиях, но девочки из моего

класса, видимо, догадались и пригласили его на новогоднюю вечеринку. Но я за эти месяцы не похорошела, не потолстела, от сознания всего этого была еще более стеснительной, сидела набившись в углу. Я сгорала от любви, а он решил, что стал мне безразличен; это он сказал, когда провожал меня домой: мне было приказано явиться домой ровно в 11 часов, за час до Нового года. Но он все же взял меня за руку. У меня перехватило дыхание, и я дрожала, как в лихорадке. Молча дошли до дому, постояли. Я опоздала на полчаса. Минут десять в наказание сидела на лестнице. Ровно в полночь я лила обильные слезы на подушку в честь своей жарким костром полыхающей неразделенной любви. Не было поцелуя в щечку.

На следующий год родители отправили Глеба учиться в Вильнюс. Они были против его учебы в Каунасе. Я в отчаянии иногда думала, что, может, они про меня правду узнали... Однажды я его встретила: он был с какой-то очень красивой девочкой. Мы приветливо поздоровались и разошлись. Я, конечно, виду не показала, но думала, что от ревности потеряю сознание. Я желала себе смерти. Записи в дневнике начинались все с той же короткой фразы, но примешалась горечь...

Если бы не это — все было бы прекрасно: в школе дела шли блестяще, по-литовски я болтала всю, вообще была отличницей. Я прочитала уйму интересных книг, иногда дядя брал меня с собой на ночные киносеансы, где показывали трофейные фильмы. Это были самые чудесные фильмы, которые я видела: «Двойная игра», «Индийская гробница», «Весенние дни»... Ничему в них не учили, сиди и наслаждайся: поют, танцуют. Ходила я и на концерты в Дом офицеров; дядя давал мне билеты, я могла даже подружку с собой взять.

В девятом классе я начала получать письма от мальчиков с предложениями дружбы, а иногда даже с выражениями любви. Но они оставляли меня равнодушной. Мужчины меня не интересовали, а вскоре я стала испытывать к ним еще и физическое отвращение.

Дядя занимал какой-то солидный административный пост в области искусства; но, видимо, в этой области тоже можно было поскользнуться: меня все реже посылали за пирожными, реже подавались вкусные вещи, и поговаривали, что придется избавиться от моего любимца сенбернара Отелло, который слишком много ест. Дядя с тетей часто шептались и замолкали при моем появлении. Перестали пугать меня разговорами о том, что следует начать заниматься музыкой: ведь не зря же стоит красавец рояль «Стейнвей» с бюстом Бетховена на нем.

Юля ворчала на кухне, что она не факир, чтобы из костей делать бефстроганов, и что нечего держать домработницу, если дела идут плохо. Меня она вообще перестала замечать. Я вдруг почувствовала себя лишним ртом. Я с удовольствием избавила бы своих родственников от расходов на меня, но куда же мне было деваться? Просто до ужаса не хотелось обратно в Сибирь. Я старалась не попадаться никому на глаза, я никогда ничего не просила, я пыталась быть полезной, я очень хотела чем-то компенсировать их доброту. Но я ничего не умела, пользы от меня никакой, даже в школу меня приходилось будить, сама не могла проснуться.

Одно время меня будила тетя, а когда я повзрослела, уже в девятом классе, вдруг начал будить дядя. Делал он это весьма своеобразно: тихонечко открывал дверь, в пижаме входил в мою комнату,

поднимал одеяло и ложился рядом со мной на мою узехонькую кушетку. Он прижимался ко мне, гладил, целовал. Я замирала у него в руках, как заяц в зубах у волка, губы у него были слюнявые, я сжимала от отвращения зубы, а он шепотом уговаривал быть с ним ласковой. Я терзалась отчаянно, но отвращение было сильнее долга. Мне не удавалось быть ласковой, и я только много позже поняла, сколько героизма он проявлял, ограничиваясь только таким способом побудки...

Я же обо всем этом имела в высшей степени непоколебимые представления: девичья честь превыше всего, «умри, но не давай поцелуя без любви». И хотя наши «побудочные отношения» я и мысленно не относила к категории любви, меня иногда подташнивало от стыда и мерзости. Несколько раз, как мне казалось, в критические моменты, я с воем выскакивала из кровати, плача бежала на кухню, дядя, красный, взъерошенный, бежал за мной, зажимал мне рот и уговаривал никому не говорить. Странно, что он оставил при мне эту самую «девичью честь», потому что мне казалось, что он «будит» меня с тетиного ведома: во-первых, он проходил через ее комнату, во-вторых, как только он возвращался после «побудки» к себе, она появлялась на кухне и готовила мне завтрак. Чего он опасался — непонятно. Кончилось это просто: однажды я сказала тете, что если дядя еще раз придет меня будить, я выброшусь в окно. Она пообещала все уладить.

Я старательно вела дневник. Тетя была любопытна. Вскоре я обнаружила, что мой любимый дневник, весь испещренный стрелами, пробивающими истекающее сердце, ежедневно изучается тетей. На полях дневника я рисовала, как мне казалось очень точно, профиль Глеба со сросшимися на переносице черными бровями над серыми гла-

зами с длинными загнутыми ресницами. Под ним: «С+Г=ЛЮБОВЬ». И такое — в чужих руках! Тетя настолько привыкла к этому подлому занятию, что иногда забывала вытащить свои закладки. Я страшно возмутилась в первый раз, собиралась выступить с гневной обличительной речью, но вспомнила горький опыт с московской тетей. Больше теть нигде не было. А Сибирь не манила. Я стала дневник прятать. Но тетя обнаруживала его даже в продуктивном шкафу в проходике между моей комнатой и кухней. Я его на веревочке подвешивала за книжной полкой — находила. Не писать о своей любви к Глебу — невозможно, укрыть написанное — тоже невозможно. Ладно. И я стала пользоваться своим столь дорогим сердцу, единственным другом для того, чтобы на его страницах объяснить всем любопытным и нечестным людям, как это низко и гнусно — совать свой паршивый нос в чужие секреты. Комментарии ко всяким неприглядным домашним событиям тоже начали появляться на страницах моего дневника. Глумилась я отчаянно, но любопытство тети одерживало верх. Я даже думаю, что при своем добродушном и смешливом характере она получала некоторое удовольствие от такой односторонней переписки.

В девятом классе со мной произошли кардинальные изменения: во-первых, я округлилась, в некоторых местах даже значительно больше положенного, от чего тоже стала страдать. Я выросла, а главное, кое в чем пересмотрела свои взгляды. Занялась общественной работой — сначала стала редактором школьной стенгазеты, даже увлеченно писала злобные фельетоны, обрушивая на мальчиков оглушительные обвинения в дурном отношении к государственной собственности (они на партах иногда вырезали перочинным ножичком инициалы,

часто мои же), рисовала уничтожающие карикатуры. Потом меня избрали секретарем комсомольской организации. Я была этим очень довольна, но по весьма странной причине: раз избрали на такую солидную должность, значит, анкеты не проверяются, значит, никто не знает про папу и маму. Я поняла, что за это можно спрятаться. Мысль, конечно, не очень соответствующая светлым марксистско-ленинским принципам о самоотверженности и идейной целеустремленности комсомольца, который есть опора и помощник партии. Но без моей новой философии, я поняла, в этом мире мне не продержаться...

Началась полоса собраний, совещаний, заседаний, обсуждений, решений, разработок, проработок, отчетов, учетов, проверок, а в общем, просто присутствий. Все это было заранее кем-то и выработано и принято, но следовало делать вид, что и мы принимаем участие. Жалко, что ли?

У меня появилась закадычная подруга, Ляля, с которой мы сидели за одной партой. На уроках мы писали друг другу записки, где сообщали, сколь счастливы, обретя друг друга, делились впечатлениями об ухажерах, шептались о любви. Мы стали поверенными друг друга в делах: к Ляле за помощью обращались мои поклонники, ко мне — ее. Мне посвящали целые поэмы, а просто сонетов в духе Петрарки я получала множество. Но они оставляли меня равнодушной: я все еще любила Глеба. Но об этом знала только Ляля. И тетя...

Незадолго до окончания девятого класса нам объявили, что те, у кого в табеле одни пятерки, могут попытать счастья и, занимаясь самостоятельно летом, сдать экстерном за десятый класс несколько предметов. В случае успешной сдачи их переведут в последний, одиннадцатый класс. Я сразу заго-

релась этой идеей: уж очень мне хотелось стать самостоятельной. Я и Лялю уговорила. Но дома дела, видимо, были совсем плохи. Тетя сказала мне, что они списались с московским дядей и тот согласился на лето взять меня к себе, а там, мол, видно будет. Очень расстроило меня это «там видно будет». «Там» могло обернуться Канском. Но что делать? Утешала я себя тем, что я теперь «философ», а не «желторотый идеалист», вырвавшийся из Сибири. Я теперь и вилкой и ножом орудовала мастерски, и на распечатанное письмо не среагировала бы...

С московским дядей мы встретились очень дружески. Домой ехали уже не такси, а автобусом с Белорусского вокзала. Серьезно беседовали. Я старалась быть сдержанной. Лето прошло расчудесно: мы гуляли по Москве, ездили в Сокольники и Парк культуры и отдыха, катались по Москва-реке, были в Консерватории на чудесном концерте. В то лето я полюбила музыку. Но омрачали жизнь учебники за десятый класс. Я успела их только «пробежать», но что значит «пробежка» для алгебры, геометрии, тригонометрии или химии? А с математикой я была не в ладах с момента нашей встречи. Я помню свои первые попытки проникнуть в тайны алгебры еще в седьмом классе. Сестра объясняет с нотками усталости и презрения в голосе и, как заклинания, рисует какие-то значки A и B в квадрате, кубе. То они в скобках, то — без. А она, не задумываясь, небрежно тут же выписывает страшно мудреные ответы, где вместо простых A или B они же являлись в каких-то сдвоенных и строенных комбинациях.

— Все еще непонятно?

— Нет. Ответь мне просто и по-русски: сколько будет A плюс B ?

— Я тебе только что написала.

— А ты ответь, число скажи.

— Но речь идет об общей формуле, а не о числовом выражении. Поняла?

— Нет.

— Отвлекись от цифр. Представь себе закон математики, который выражается отвлеченными знаками.

— Я не понимаю про отвлеченные знаки, ты мне цифры давай.

— Боже, что мне с этой дурой делать? Смотри, вот формула. Отсюда вытекает...

— Что у тебя где вытекает? Почему надо так хитро выдуриваться? И не прикидывайся, что ты в этом что-то понимаешь, просто задаешься: тут «отвлеченно», там «вытекает».

Она вскидывала на меня усталый и безнадежный взгляд и уходила.

Так что когда я после московского лета с семейного согласия вернулась в Каунас, экзамены по литературе, истории и географии были сданы вполне прилично, и, очевидно, только из почтения к моим литературно-географическим и общественным заслугам мне поставили тонюсенькую тройку с минусом по математике: я не сумела отличить косинус от тангенса. Ляля тоже выдержала экзамены, и наша третья подружка, Фаня, тоже. Нас троих перевели сразу в одиннадцатый класс.

Последний год в Каунасе был полон событий. Главное — мы встретились с Глебом. Гуляли по нашему школьному кладбищу, читали друг другу стихи, рассказывали о жизни. Моросил дождик. Я любила его безумно, но он об этом так никогда и не узнал. Мы сидели у чьей-то могилы, накрытые

его куцым пиджачком, и сердце мое громко булькало. Тот кладбищенский вечер подарил мне мой первый, чистый, скромный поцелуй любви, единственный, короткий.

Потом я не раз сидела «плечом к плечу», и не на кладбище, и не под пиджачком, и поцелуи были не столь короткими и неумелыми, но такого огромного ощущения чистого счастья изведать больше не довелось...

Благодаря своей комсомольской должности я частенько присутствовала и на учительских собраниях, когда обсуждались общие вопросы. Нас инструктировали: на данном этапе следовало в школе, особенно комсомольцам, поднять на должную высоту проводившуюся повсеместно борьбу с расплодившимися безродными космополитами. Опасность таилась в учебниках. Там не всегда с кристальной ясностью значилось, что все открытия и изобретения сделаны советскими людьми или, в крайнем случае, русскими учеными, хотя и в проклятое царское время. У меня уже был опыт изъятия из учебников «ставших никем»: палец в чернильницу — и замалевывай неугодную рожу. Но сейчас шел 49-й год, а не трудные военные годы. Благосостояние населения настолько возросло, что можно было себе позволить просто изъять политически неграмотные учебники. И передовой авангард партии — комсомольцы — должны были проявлять бдительность в этой доверенной им деятельности.

В Литве в то время, кроме простых безродных космополитов, были еще какие-то сложные. Эти не только не помышляли о приоритете — русском или советском, а с оружием и без оного боролись с

«новыми порядками». А их ловили, стреляли, ссылали, «вырывали с корнем». Так «вырывали с корнем» приятельницу моей двоюродной сестры — с матерью и прочими членами семейства. Они жили по соседству с нами. Как-то ночью они пропали. Я слышала звонок к нам, потом беготню, шепот, плач. Но я твердо следовала своему принципу: «Не лезь, пока не позовут».

Сын этих соседей когда-то исчез из дому и скрывался в лесу у партизан, которые не хотели, чтобы Литва была советской республикой. Я сочувствовала нашим соседям, и мне было жаль их красивую дочь. Я легко могла представить, что ждет их в Сибири.

Утром дома шушукались: оказывается, в ту ночь была особенно крупная акция по «вырыванию с корнем» всех бывших, настоящих и потенциальных врагов.

Я воспитывала в себе хладнокровие и решила стать скептиком. Причин этому было более чем достаточно... Когда я после лета вернулась из Москвы в Каунас — исчезли, очевидно у букиниста, три любимых книги с моей полки: Чехов, Толстой и Гоголь в толстых синих переплетах с овальным рельефным портретом автора, издательства Вольф. Потом исчезло тетей же подаренное золотое колечко с красным камешком. Потом пропал большущий кусок настоящего янтаря — Лялин подарок ко дню рождения. Я сносила все молча, хотя книг было очень жалко. Только когда не стало моего собрания марок, которыми я очень увлекалась, я робко поинтересовалась, нельзя ли его найти. Дядя на это смущенно-возмущенно заявил, что он, мол, тысячу раз мне уже говорил, что не позволит в своем доме держать эти мерзкие марки с портретом Гитлера, это и неприятно и опасно. А я, мол,

его не послушалась, и он сжег их. «Но почему же весь альбом?» — «А чтобы была в следующий раз послушнее». Было жутко обидно, но я тогда уж не плакала.

В школе тоже было отчего стать скептиком. Латынь и астрономию нам преподавал старый, желчный пан Слендзинский (пан-господин, как мы его в шутку называли за то, что он был старомодно одет, даже носил монокль). Так вот, учебника по латыни в те времена не существовало, и пан Слендзинский каллиграфическим почерком вписывал нам в тетрадки отрывки из речей Цицерона и прочих великих римлян. Нам следовало их переписывать от пяти до десяти раз, в зависимости от настроения пана. Если домашняя работа не была выполнена, пан Слендзинский говорил:

— Ах, нехорошая девочка. Я приду сегодня жаловаться тете.

Это было не страшно. Тетя на кухне наливала ему чаю, давала сухариков, иногда еще в придачу кусочек мыла. После этого мне можно было месяца полтора вообще не заботиться о Цицероне и прочих римлянах.

Иногда пан Слендзинский сам сочинял для нас предложения: «На солнце появились пятна, значит — будет война», «Чтобы быть мужественным, надо быть честным». Мы пытались перевести это на латынь. Но кому-то не понравились признаки войны и мужества пана Слендзинского. Для начала его вызвали в райком, где обвинили в аполитичности и пригрозили. После этого мы стали переводить предложения вроде: «В поле распустились цветочки, значит — наступило лето». А когда он пришел к тете за очередным кусочком мыла, то желчно сказал: «Вы думаете, им латынь нужна? В тюрьму отправлять и без латыни можно». До

конца года он нас не доучил — исчез. Латынь нам не пришлось сдавать на государственных экзаменах, ее просто выставили по четвертным отметкам, а астрономию принимал на экзаменах наш учитель географии.

Потом наступила пора выпускных экзаменов — одиннадцать предметов. Я смертельно боялась математики, хотя в течение всего года с Лялиной помощью благополучно получала одни пятерки. Ляля была великий математик, а я для нее писала сочинения. То же вывезло и на экзаменах — я писала два сочинения на разные темы, Ляля решила для меня все задачи. На устных экзаменах по математике помогли шпаргалки. В общем, по всем одиннадцати предметам я сдала на пятерки. За это полагалась золотая медаль, а это значит — без экзаменов в университет. Я мечтала о филологическом, а еще больше — о журналистике, но об этом никому не говорила, даже Ляле.

Но оказалось, что на школу отпущена только одна золотая медаль и ее следовало дать русской или, в крайнем случае, литовке, как представительнице «аборигенов», и уж никак не еврейке. Так мне разъяснил наш классный руководитель, учитель литературы, который ко мне очень хорошо относился. Он же мне потом объяснил, что по математике снизить невозможно было на четверку, уж очень, мол, точная наука, так вот, решили снизить отметку за сочинение. Так слизнула золото моей медали «дружба народов».

ДЕЙСТВИЕ III

Ленинград



В Ленинград я была влюблена еще задолго до встречи с ним. Еще в Сибири, в мечтах. Но реально я себя в нем никогда не представляла, всегда только выдумывала странные, фантастические истории, где мне была отведена немаловажная роль: то я Настенька из «Белых ночей», то я Лиза из «Пиковой дамы», но чаще всего я бывала «пленительной Незнакомкой», которую воображение уносило в собственном экипаже с гербами на дверцах и шестеркой рысаков даже в Париж. Но для Парижа фантазии не хватало. А Ленинград — вот он. Стою на площади перед Московским вокзалом с адресом дядиных знакомых в кармане. Их даже не успели известить о моем приезде.

Но, как всегда, мне везет. Первый же человек, которого я спросила, как проехать на Геслеровский, взял меня за руку, довел до нужного трамвая, помог водрузить чемодан и велел кондуктору ссадить меня на нужной остановке. Кондуктор тоже оказался добряк, стал расспрашивать, откуда я да куда, поехал, поехал: вот ведь — ребенок еще, семнадцать лет всего, а одна приехала в большой город, где обидеть могут на каждом шагу, где воруют

так, что «часы с руки снимут — не почувствуешь», а уж если в сумочке какие деньги есть — крепко к себе надо ее прижимать все время. Не забыл про Геслеровский, да еще объяснил, как нужный дом найти. Чудеса!

Дядины знакомые тоже оказались дома и, хотя не проявили бурной радости при моем появлении, все же разрешили оставить вещи и, если понадобится, то несколько дней, до устройства в общежитие, переночевать.

Я приехала учиться литературе: из всех моих прежних увлечений — балет, астрономия, шоферское дело и даже летное искусство — одна литература заняла прочное место.

Мой аттестат зрелости сверкал серебром, и крупными буквами в нем стояло: «Настоящий аттестат, согласно § 4 Положения о золотой и серебряной медалях «За отличные успехи и примерное поведение», утвержденного Советом Народных Комиссаров Союза ССР от 30 мая 1945 года, дает его владельцу право поступления в высшие учебные заведения Союза ССР без вступительных экзаменов».

Аминь.

Но меня не хотели принимать без вступительных экзаменов. Не хотели принимать и с оными. Сначала отпали русское отделение и журналистика. Я действительно поверила, что места для медалистов заполнены. Немножко странным показалось, что мне этого в приемной комиссии не сказали сразу, а только после беглого осмотра аттестата. Тогда я попросила разрешить сдавать экзамены на общих основаниях.

— Что вы, девушка, это невозможно! Вам ро-

дина дает право поступить без экзаменов, как же можно на общих! Что вы, да нам и не разрешат менять инструкции: медаль есть медаль.

И посоветовали попытать счастья на других факультетах университета.

— Но я хочу на филологический!

— Сказано, прием медалистов закончен. Не мешайте другим.

Я пыталась счастье на других факультетах, пыталась его и в других институтах. Повсюду то же странное явление: радушный прием, как же — «это честь для института, когда поступают медалисты», предлагали заполнить анкету, советовали, обещали дать общежитие, но после изучения моей анкеты лица начальниц приемных комиссий омрачались легким облачком:

— Вы знаете, придется проверить, не приняли ли мы уже достаточное количество медалистов. Помните, мы были больше заинтересованы в золотых медалистах. Но вы не унывайте, наведаетесь завтра.

Или:

— Оставьте свои бумаги, аттестат возьмите с собой. Мы сообщим вам решение приемной комиссии.

И советовали наведаться в другие институты. А сюда лучше просто позвонить.

Я навевывалась, звонила, ждала решения. Но прием медалистов повсюду был закончен.

Тогда я позвонила в один из мало в то время популярных технических институтов и спросила:

— У вас закончен прием медалистов?

— Нет. А почему это вас интересует?

— Я хочу поступить к вам.

— Так в чем же дело, милости просим.

— Я еврейка.

От тишины заколотилось сердце, но трубка сказала:

— Какое это имеет значение? Приходите. Можете сейчас, если поторопитесь.

Факультет пришлось выбирать по «Справочнику для поступающих», так как в технике я мало разбиралась... Тут же оформили, зачислили на стипендию, дали общежитие.

Я была на седьмом небе, а то уж было отчаялась: дядины знакомые, у которых была всего одна комната, явно не наслаждались моим присутствием. Я даже чай утром не пила, шмыгала в дверь немытая, нечесаная, но они все равно попросили меня уйти.

Философия скептицизма и на этот раз помогла: «Раз евреев то ли вообще не берут, то ли весьма ограниченно принимают на гуманитарные факультеты — нечего было и соваться. Если бы меня даже приняли, то как бы я смогла стать порядочным журналистом или даже писателем, коли еще в самом начале чинят всякие препятствия? И из-за чего? Только из-за национальности. Ну и хорошо. Лучше я буду честным средним инженером, чем подлым журналистом или даже писателем».

Одно только смущало: моя ненависть к математике. Но я твердо решила во что бы то ни стало получить высшее образование, любой ценой, даже путем освоения всей ненавистной мне технической премудрости.

Мое общежитие оказалось на углу Среднего проспекта и одной из линий Васильевского острова. Шел ремонт. Абитуриентов разместили на одном из пяти этажей. Мне разрешили прожить здесь оставшиеся три недели. Занятия начинались пер-



Сильва Дарел (с куклой в руках) на пороге дома их семьи в Риге



Отец Сильвы Дарел



Сильва Дарел



Сильва Дарел



Сильва Дарел



Сильва Дарел



**Сильва Дарел
с мужем Генри в Англии**

вого сентября, денег было очень мало, ехать все равно было некуда, и я решила посвятить все время Ленинграду.

Город околдовал меня. Иногда мне казалось, что все это знакомо, а знакомым было только название улицы или площади. Из экономии пришлось ходить пешком и только два раза в день питаться в «Молочных» (но там все было очень вкусно). Вообще, когда ходишь пешком — больше видишь. Для отдыха я выбирала особо значительные места, вроде Летнего сада, Петропавловской крепости или Стрелки Васильевского острова. Тут у меня начинались видения: красавицы, ревнивые мужья, поклонники-гусары, надушенные любовные записки и быстрые кони. И конечно — дуэли, то на льду Невы, то у Черной речки. И, как положено, немаловажную роль играю я...

Эрмитаж подавил мрамором и позолотой, от картин заболела голова, Русский музей понравился больше — тут были картины, знакомые еще со школы: в искусстве я мало разбиралась. В Михайловском саду мерещились убийства.

Нигде не разрешалось ходить, сидеть или лежать на траве, об этом таблички извещали на каждом шагу. Но пройдя через Марсово поле и Кировский мост, можно было вытянуться на крошечном участке, так называемом пляже, у Петропавловской крепости. Купального костюма у меня не было, да я бы все равно постеснялась раздеться, но в воде ноги быстро отходили от усталости. Тут тоже думалось, но фантазии, унеся меня сначала к героям-декабристам и их любящим и верным женам, следовавшим за ними даже в Сибирь, хоть и в собственных экипажах или, в худшем случае, на перекладных, упорно переносили меня к маме и сестре, которых я уже три года не видела и очень по

ним скучала, и к отцу, который, возможно, сидит в таком вот каземате, как это чудо архитектуры — Петропавловская крепость. Становилось грустно.

Зато на Стрелке Васильевского острова мне чудились загадочные красавицы в кринолинах и с роскошными веерами, из-за которых они бросали многообещающие лукавые взоры на гарцующих рядом красавцев.

И странно, что совсем близко отсюда стоял легендарный крейсер «Аврора», своим выстрелом возвестивший начало революции; что по тем же местам шагал сам товарищ Киров, пока чья-то злодейская рука не расправилась с ним; что совсем близко, на Дворцовой площади, бесчисленными окнами светился Зимний дворец, на приступ которого когда-то двинулся революционный Петроград, но это мне и в голову не приходило, хотя и сама я об этом читала, и зубрить наизусть нас это заставляли, и фильмы шли о том же, даже картины в музеях были об этом же. Вместо шагов товарища Кирова мне слышался топот Медного всадника и шум разлившейся воды, вместо выстрела с «Авроры» слышались арии из «Пиковой дамы», а где-то недалеко от Дворцовой площади топились домой на Мойку Настенька из «Белых ночей».

Первый семестр промелькнул будто во сне. «Проснулась» я от первого провала на первом же экзамене по технологии металлов, оставившего меня без стипендии. Моя новенькая зачетная книжка украсилась тройкой, которую, греша против своего любимого предмета, с большой натяжкой поставил милейший профессор Котов. Я ела себя поедом, я презирала себя, но стипендию мне все

равно не дали. А жить было надо, диплом во что бы то ни стало был нужен.

Оказывается, я просто не заметила, что занятия идут со всей серьезностью. Мне показалось, что вот наконец-то я обрела свободу, никто не заставляет сидеть на лестнице за полчаса опоздание. Наслаждайся. Я и наслаждалась. Благо было чем.

С утра — после слегка неприятной процедуры умыванья в общей умывалке, где приходилось стоять в очереди к крану, — сплошное веселье. Гроздь свисающих с «четверки»* безбилетников — студентов, прячущихся от контролера. Вся эта веселая толпа на ходу ссыпалась на повороте к Невскому, у Адмиралтейства, и после небольшой пробежки по переулку вливалась в вертящиеся двери института. А уж там — лекции, которые вовсе не обязательно слушать, практические занятия, на которых с чьей-то помощью удавалось проскочить, и длинющие веселые очереди в буфет за чаем и в столовой за щами и котлетами. Приятнее всего — путь домой. Пешком по Дворцовому мосту, по Университетской набережной, мимо гранитных сфинксов, перевезенных в столичный город Петра в 1832 году из древних Фив в Египте.

Я редко возвращалась одна, всегда кто-то случайно оказывался рядом. Приятнее всего было идти с Жоржем: на него заглядывались встречные девушки, отчего я горделиво пыжилась. Жорж приехал из Албании, хотя родился на Сицилии. Мать его была итальянка. От нее он, наверно, унаследовал красивый, теплый голос. Он умел чудесно петь и рассказывать. Я долго боялась его расспрашивать: вдруг он подумает, что я ему завидую или что мне здесь чего-то не хватает, но все-таки решилась.

* Трамвай № 4.

— Расскажи еще про Италию. Пожалуйста. Про что хочешь расскажи, мне так интересно.

От рассказов и тихих итальянских напевов у меня начиналось головокружение, Жорж видел мое волнение и смеялся:

— У вас на юге тоже море теплое, синее, с пляжами. И солнце тоже жаркое, и пальмы растут.

— Но я хотела бы одним глазом посмотреть Италию.

— Я тоже.

— Так ты-то можешь!

— Нет. Я тоже не могу, я член партии...

— Ну и что?

— Не будь ребенком. Раз у вас нельзя, так и у нас нельзя.

— Но ты ведь на Сицилии родился, домой поехать ведь можно!

— Раз уж мы заговорили об этом, скажи мне, где ты родилась?

Я обмирала со страху.

— А зачем тебе?

— А почему ты побледнела?

— Я не побледнела. Почему ты все же спросил?

— Меня на днях пригласили в наше землячество и спрашивали о тебе. Я рассказал все, что знал, но не знал, где ты родилась.

— А зачем это? Почему тебя обо мне спрашивают?

— О, очень просто: нам, иностранцам, нельзя дружить с советскими девушками. Нас об этом сразу предупреждают. Меня же видели с тобой уже несколько раз, вот и заинтересовались. Я сказал, что между нами ничего нет, просто, мол, знакомая, и рассказал, что знал.

— И хватит им. А нам, выходит, нельзя больше

встречаться? Мы же просто гуляли по городу, разговаривали. Что же тут плохого?

— Ничего.

— А если, скажем, иностранец влюбится в советскую девушку, тогда что?

— Отправят домой. Вернее, сначала поговорят, как со мной, предупредят, объяснят, что жениться все равно нельзя, ну и, может быть, все еще обойдется.

— Ты знал об этом, когда сюда ехал?

— Знал.

— И другие иностранцы знают?

— Конечно.

— А как же Ласло с Лорой? У них даже ребенок есть...

— О, это целая трагедия. Уж я-то знаю: я ведь с Ласло в одной комнате тогда жил. И то, что им с таким трудом удалось пожениться, еще ничего не значит. Им сказали при регистрации, что Лоре все равно не разрешат уехать в Венгрию, зато, если Ласло хочет, он может остаться здесь.

— И что?

— Не знаю. Но думаю, что он уедет.

— А она с ребенком останется?

— Почему тебя это так волнует?

— Потому что я слышала, как девочки в нашей комнате рассказывали, что Лора хотела покончить с собой, когда узнала, что у них будет ребенок, а жениться нельзя.

— Ласло тоже очень переживал. Но я думаю, что это изменится.

Может, Жорж был прав, полагая, что это изменится. Но я очень боялась интереса к своей особе со стороны всяких учреждений, а тут еще иностранцы... Нет уж, не надо мне красавцев, не надо мне Италии, обойдусь без песен.

С Жоржем ушло что-то красивое, несбыточное. Было жалко.

Зато смело и настойчиво за мной стал ухаживать болгарин. Был он лет на пятнадцать старше меня, вел себя покровительственно, дарил конфеты, приглашал в оперетту и цирк и очень любил рассказывать — про то, как сидел в тюрьме, про свою деятельность в подполье и вообще про то, как много он сделал для своей родины с тех пор, как вступил в партию. Но и заслуженного партийца вызвали в землячество.

Особенно много было китайцев. Но на советских девушек они и не взглядывали. Они никогда не появлялись на танцах, что устраивались на площадках лестниц или в коридорах, ни с кем не разговаривали, учились в специальных группах. Одеты они были все одинаково, в темно-синие «маоцзедунки»; их часто можно было видеть в общежитии пробирающимися, будто крадучись, вдоль стен, с неизменным чайником в руках: к титану и обратно. И в любое время ночи в «зубрилке» — комнате для занятий — можно было увидеть склоненную над книгами или чертежами стриженую голову парня в «маоцзедунке».

Моя каунасская подруга Ляля тоже училась в Ленинграде. Мы встречались с ней почти каждую субботу, были все так же дружны, рассказывали друг другу свои сердечные тайны. Почти в каждом институте у нас были друзья, и редкий субботний вечер обходился без танцев — иногда в политехническом, иногда в университете, но чаще всего в общежитии у Ляли или у нас. Ходили мы с ней даже на вечера в артиллерийское училище и в Дзержинку. И к искусству стали приобщаться

вместе: впервые пошли в Мариинку на «Евгения Онегина», где сначала давились от смеха при виде толстой Татьяны, но понемногу, войдя во вкус, увлеклись.

Свободой надо уметь пользоваться. Я поняла это слишком поздно, когда провалилась на экзамене... Выхода я не видела. Очень не хотелось ехать в Сибирь, но жить без стипендии было не на что.

Но, видно, неспроста маме не удалось меня истребить даже в эмбриональном состоянии. И на этот раз мне повезло: спас все тот же московский дядя. Он на три года завербовался на Сахалин. Узнав о моем положении, распорядился пересылать мне часть денег за свою московскую комнату, которую он сдал. Эта часть оказалась даже чуть побольше моей стипендии — двухсот девяноста рублей.

На эту стипендию тоже жилось не очень роскошно. Я еще ни разу в жизни не носила шелковых чулок, понятия не имела о косметике, мечтала когда-нибудь разбогатеть, сделать маникюр и своими глазами увидеть ресторан. Облизывалась, глядя на бесконечные очереди в магазине на Среднем проспекте, когда там продавали штапель. После оплаты общежития, комсомольских и профсоюзных взносов редко удавалось дотянуть до стипендии без долгов. Чаще всего к концу месяца не хватало даже на постные щи в студенческой столовке. Но из положения выходили: чуть ли не все девочки в нашей комнате к концу месяца оставались почти без гроша... Тогда мы устраивали общественное «комнатное» питание. Сообща покупалась картошка, колбаса «Маруся отравилась», много хлеба, и — благо кипятка всегда был — устраивался пир. Сытно и весело.

Я давала себе страшные клятвы учиться, пере-

стать бегать по танцам, стать серьезной. Я себя стыдила, и меня стыдили. Даже на общекомсомольском собрании мой случай привели в качестве примера того, как люди не умеют пользоваться свободой: пришла в институт, мол, с медалью, а первый же экзамен сдала на тройку. И если бы кто-нибудь тогда сказал мне, что я и весной провалюсь аж по двум предметам, искренне бы не поверила.

От мамы приходили бодрые письма. Она ни на что не жаловалась, советовала учиться, постараться получить стипендию, сделать все, чтобы не зависеть от дяди, «ведь всякое может с человеком случиться».

В одном из писем мама напомнила о нашем хорошем знакомом, инженере, который, «помнишь, приходил часто, когда мы еще у Апракси жили. Всегда голодный, небритый, даже заговаривался иногда, я тебя всегда ругала, когда ты смеялась над ним. Он все спрашивал, не осталось ли корочки от обеда. И мы потом еще вспоминали, как он однажды кинулся и вырвал у меня из рук кастрюлю с чем-то пригорелым и сказал, что горелая пища очень полезна для здоровья. Помнишь?»

Мама писала, что он вернулся к семье в Ленинград, что у него очень славная жена (она приезжала за ним, так как он был слишком слаб для такого длинного путешествия), и хорошо бы, если бы я их навестила. Они будут мне очень рады. И вообще хорошо, когда знаешь, что кругом добрые люди, которые не оставят в беде.

Тут же была коротенькая записка к друзьям.

Жили они на Садовой. Судя по не очень многим звонкам у входной двери, квартира была не так уже перенаселена. Открыла мне жена нашего

друга. Я еще в прихожей назвала себя и поздравила ее с благополучным возвращением мужа. Что тут стряслось! Она обхватила меня, зажала мне рот, втащила в комнату, сама бледная, сердитая, и стала шипеть:

— Как тебе не стыдно? Разве можно так являться к людям? Где это видано, чтобы порядочные люди разговаривали в прихожей? Кругом ведь не глухие, могут услышать, не пустыня ведь здесь! А ты кричишь.

— Простите, я не думала, что так громко говорю.

— Мы и так в вечном страхе живем, мы все делаем, чтобы никто не знал, чтоб и соседи и вообще все люди забыли, что с нами было, натерпелись мы от них на всю жизнь, а тут приходит эта девчонка и кричит, будто назло.

— Я бы не пришла, это мама думала, что вы рады будете. Простите, я лучше уйду.

— Это меня еще больше удивляет. Твоя мать произвела на меня очень интеллигентное впечатление, и муж о ней очень хорошего мнения. Как же она не понимает, что нельзя людям прежние ужасы напоминать, когда жизнь и так-то на волоске?

Она, действительно, видимо, очень испугалась, дрожала и судорожно дышала, но я все-таки не совсем поняла, какое же зло я им причинила.

— Ну что ты так смотришь? Ну хорошо, ну прости меня, я не так должна была тебя встретить, но ты же должна понимать, что мы стараемся скрыть от соседей по квартире все, что с нами было. Мы с таким трудом поменяли комнату. Прежние соседи житья не давали, когда мужа посадили. Господи, как они над нами издевались, страшно вспомнить, а пожаловаться было нельзя, самих бы в Сибирь отправили. В этой квартире никто ничего не

знает, а приходишь ты и кричишь про счастливое возвращение из Сибири. Где твоя голова? Как так можно? Прости, я опять кричу, но очень прошу тебя, не делай этого больше. Я не хочу обижать тебя и твою маму, но ты девочка большая, сама должна понимать. Только представь себе, что значили для меня и нашей дочери эти пятнадцать лет, когда муж был в заключении, и ты не будешь сердиться, если я попрошу тебя больше к нам не приходиться. Да, милая?

— Конечно.

Я не обиделась. Наоборот, ужасно обидно было, что из-за собственной глупости потеряла добрых людей. А они действительно были добрыми: после моих извинений, клятв и всего прочего они сказали, что если я когда-нибудь захочу пойти с их Женечкой в кино, то чтоб я позвонила, они и для меня билет купят. А встретиться можно около кинотеатра.

Маме я написала, что у меня совершенно нет времени, чтобы пойти к нашим друзьям, но когда-нибудь я это обязательно сделаю.

Зато когда дядя с Сахалина посоветовал мне познакомиться с родственниками его жены, я приготовилась заранее ко всяким неожиданностям и, надо признаться, пошла с тяжелым сердцем. Но все обошлось. Приняли меня радушно, вкусно накормили, расспрашивали об институте, общепитии, одобрительно кивали, когда я сказала, что девочек в моей комнате всего шесть и все очень славные, смеялись над нашими «складчинами». О папе, маме и сестре разговор не заходил. Я все время боялась сказать что-нибудь не так, да и они иногда переглядывались, так что я была рада, когда обед кончился. Они, кажется, тоже. Распрощались мы очень сердечно, меня пригласи-

ли приходиться всегда, когда не будет денег на обед. Но я больше не пошла.

Только через несколько лет, уже после моего ареста, тюрьмы, Сибири, возвращения, я поняла, что у них были основания, и весьма веские, чтобы не расспрашивать об уже арестованных, когда их собственная жизнь висела на волоске. У главы семьи узелок с сухарями и зубной щеткой обновлялся к тому времени каждые полгода в течение четырнадцати лет.

Но тогда я чуть-чуть обиделась: в семнадцать лет не хочется думать о жизни плохо. Все кажется прекрасным, и я легко выкинула из головы эти мелочи, решив, что ни в ком не нуждаюсь.

Однажды на танцах в общежитии Шура, моя соседка по комнате, зашептала мне в ухо:

— Не оглядывайся сразу, потом посмотришь. В углу, напротив, стоит парень, на тебя смотрит. Это самая большая сволочь. Если он тебя сейчас пригласит — пиши пропало: от него так просто не отвертишься. Он тебя погубит, да еще с ребенком оставит. Он уже многих девчонок погубил. Я тебе такое про него расскажу — волосы дыбом встанут.

— А как его зовут?

— Олег.

— Красивое имя. Да и сам он вполне...

— Вот, я говорила, — злобно шипела Шура. — Так он нашу сестру губит.

— Шурочка, но он же мне ничего еще не сделал! На него что, и смотреть нельзя?

— Нельзя. И сделает. Он всем делает. И ты такая же дура, как все. Уже расписалась: «вполне».

Олег в это время спокойно пересекал пустую площадку, направляясь в нашу сторону. Репродук-

тор только шипеть начал перед очередной пластинкой, а Шура уже обхватила меня и поволокла танцевать. Я люто ненавидела танцевать с «дамами», хотя в то время это было в порядке вещей: кавалеров не хватало. Но для меня они находились, и я давала это понять Шуре эдаким общим одеревенением.

— Шурочка, ну зачем же так злобствовать? — раздался над ухом очень приятный голос, а Шура вцепилась в меня еще крепче. — Я ведь не людоед.

Шура шипела мне в ухо:

— Уходи, уходи сейчас же, пока музыка не кончилась. Он от тебя не отстанет. Не уйдешь — следующий танец будешь танцевать с ним, а тогда — все пропало.

— А он мне нравится.

Шура бросила меня посреди танцплощадки. Но Олег был тут. До конца вечера я танцевала с ним.

Он мне очень понравился. Танцевал он божественно, одет был лучше всех, вел себя безукоризненно. А если он и в самом деле по отношению к девушкам сволочь — так меня это не касается.

А он расспрашивал: нравится ли Ленинград, откуда я, на каком факультете, хорошо ли дело обстоит с учебой. И о себе сказал: учится на пятом курсе, через год кончает институт, уже сейчас работает полдня, знает тему дипломного проекта. Скорее всего, что после защиты диплома останется работать в Ленинграде.

Голос был тихий, мягкий, очень вежливый. Слушал он внимательно, не перебивал. Попрошался перед последним танцем. Свидания даже не назначил. Странно.

Через неделю, в субботу, я старательно гладила свое единственное платье. Пришла на танцы с бю-

щимся сердцем. Олег был там, но танцевал поочередно с двумя чужими девицами, не студентками, видно, подругами. На меня он почти не взглянул. Шура, которая всю неделю со мной не разговаривала, довольно засопела и удостоила меня уничтожающего взгляда: «Видишь?»

Незадолго до конца он ушел со своими противными девицами.

Я очень злилась. В следующую субботу я пошла на танцы в общежитие к Ляле. Потом Олега вообще несколько суббот не было. И все бы забылось, если бы не Шурочка: она при каждом удобном случае сообщала новые подробности из его «бурной любовной жизни». И только растравляла мое любопытство.

Когда же Олег в конце концов пригласил меня танцевать, я вдруг задрожала, начала заикаться, нести чушь и вообще вела себя преглупо. Он, конечно, заметил, но не подал виду. И на это я злилась, но продолжала дрожать.

Олег мне очень нравился.

Однажды за мной пришел вахтер и велел пойти в радиоузел при общежитии. Я обомлела: ни для чего хорошего не позовут...

Но там оказался Олег. Довольно официально он сказал, что хотел бы сделать пробу моего голоса. Он, видите ли, ищет диктора, и ему показалось, что у меня приятный голос и хорошая дикция. Он, как вы понимаете, начальник этого радиоузла.

Проба оказалась положительной. Дикцию удалось обнаружить. Меня взяли сменным диктором.

Мы встречались ежедневно, обычно на радиоузле. Гуляли, ходили в кино. Мне было с ним инте-

ресно. Я, кажется, влюбилась. И со стыдом думала, какая же я гнусная, распущенная девчонка: ведь мне казалось, что я всю жизнь буду верна Глебу.

Но Глеб был далеко, а Олег был рядом. Он вел себя безукоризненно. Я поняла, почему Шурочка так злобствовала: просто Олег не оправдывал надежд своих «дам». А тем надо было обязательно замуж, иначе отправят в глушь: дело шло к распределению. Коли уж в глушь, так лучше вдвоем. У Олега к тому же были шансы остаться в Ленинграде, против этого ни одной не устоять. А мне плевать. Я на первом курсе, о распределении думать еще не надо.

В нашей комнате быстро привыкли к моим поздним (вернее, ранним) появлениям домой. Утром, чтобы добудиться, меня приходилось обливать водой. День тянулся бесконечно долго, но к вечеру — откуда только силы брались? — я на крыльях неслась в радиоузел: вести передачу объявлений. Приближалась летняя сессия. Дела мои были плачевны. Дифференциальное, а позже интегральное исчисление и всякие ряды Фурье оставались для меня все столь же ненавистой тайной. Кто-то из однокурсников приносил уже готовые этюры по начертательной геометрии, кто-то за меня чертил. Я компенсировала это переписыванием разными почерками первоисточников по марксизму-ленинизму и мастерским подсказыванием на коллоквиумах. Особенно много приходилось читать трудов товарища Ленина и товарища Сталина.

Группа наша была смешанной: несколько девушек, все лет по восемнадцать-девятнадцать, остальные — парни, значительно старше, и большинство — бывшие фронтовики. Эти и верховодили. Вот как, например, мы «готовились» к коллоквиуму по марксизму-ленинизму.

Кто-то из «стариков» брал на себя одну часть заданной темы, вторую часть — другой. Вся группа в этот день ни к чему не готовилась. В аудитории появляется «мадам», так прозвали весьма вредную преподавательницу марксизма Гурвич. Чеканя шаг, подходила она к столу, проверяла по списку наличие студентов и выбирала жертву. Но тут тянулась рука «первой половины темы»:

— Нина Абрамовна! Готовясь к сегодняшней теме, я очень внимательно читал товарища Ленина, но мне кажется, что я не совсем разобрался в поставленном им вопросе. Не могли бы вы разъяснить?

— Вот как?! Вы не совсем поняли товарища Ленина? А известно ли вам, что, кроме товарища Сталина, никто так предельно четко не умел изложить свою мысль, как товарищ Ленин. Вот вы и пойдете отвечать, вместе и разберемся.

А нам только того и надо.

Затем примерно в том же духе подавала голос «вторая половина темы». И звенел звонок.

Но случались ляпсусы.

Появляется «мадам». Встает «тема», осторожно заводит:

— Вот мы тут до вашего появления целую дискуссию завели по национальному вопросу. И вот возникли разногласия: я совершенно согласен с товарищем Лениным, а Зеленцов считает, что товарищ Сталин больше прав в этом вопросе. Пожалуйста, Нина Абрамовна, рассудите нас, кто прав, а кто нет. Это как раз тема нашего сегодняшнего коллоквиума.

Во время этого «начала» Нина Абрамовна свирепо вскинула глаза на говорившего, не менее свирепо обвела притихшую группу и, набрав воздуха, взорвалась:

— Никогда, слышите, никогда не возникало никаких разногласий, даже самых мельчайших, между двумя гениями. Так что оба вы не правы, и этим я еще вплотную займусь. На вашем же месте, товарищ Финкельштейн, а также и на вашем, товарищ Зеленцов, я бы поостереглась столь легкомысленно демонстрировать свою глубочайшую политическую безграмотность. К тому же, если я не ошибаюсь, оба вы члены партии. Партии Ленина — Сталина. И в ней не может быть разногласий. Останьтесь оба после занятий, я поговорю с вами на кафедре. А сейчас мы займемся национальным вопросом.

В журнале в этот день появлялись незапланированные двойки.

Я успевала по одному-единственному предмету — по немецкому языку. От нас требовалось уметь читать и переводить со словарем технические тексты. Надо было сдать определенное количество печатных знаков. Я легко переводила и без словаря, но очень боялась, чтобы меня не заподозрили в излишнем знании такого опасного предмета, как чужой язык. Поэтому при чтении я безбожно коверкала слова и делала вид, что перевожу со словарем. Но все равно боялась, что кто-нибудь заинтересуется, для какой цели и где я выучила этот язык. Зато своим товарищам я здорово помогала со сдачей знаков, за что они приносили мне готовые работы по всяким техническим предметам.

Через экзамены перевалить не удалось: провалилась по физике и математике. Переэкзаменовки остались на осень, что изрядно испортило лето. Очень стыдно было перед Олегом, который сдал государственные экзамены на одни пятерки. Жалко было огорчать маму, и очень неловко писать на Сахалин дяде, от которого зависела моя судьба.

И хуже всего было то, что я прекрасно понимала: если бы я хоть чуточку больше занималась математикой и физикой, то сумела бы их сдать — остальные ведь как-то сдают, так неужели я глупее? И не облегчали мою совесть соображения, что остальные-то пошли сюда учиться по собственной воле, а не как я.

На лето меня пригласили родственники из Литвы. У них я получила подробное письмо от мамы, где наконец узнала кое-что об отце: в Ленинград мама о нем не писала, даже не упоминала, боясь испортить мне «чистую» автобиографию, где значилось, что папа «погиб на трудовом фронте». Он сидел уже десятый год, свиданий не дают, но мама изредка собирает ему посылки: сухари, чай, бывает, даже баночку меда и масла. Он пишет бодрые письма, никогда не жалуется, всегда спрашивает обо мне, желает мне здоровья и ума. И мама тоже желает мне ума, так как важно, чтоб я всегда помнила, сколь осторожной и умной следует быть...

Я помнила. Я всегда помнила, что следует быть осторожной. Я помнила об этом в самые счастливые минуты. Я даже воспитала в себе несколько участков сплошного табу, при легчайшем касании которых я изворачивалась, как фокусник, и всегда ловко уходила от запретной темы. Куда уж больше: Олег ничего обо мне не знал. А он частенько спрашивал всякие глупости, очень сердя меня. Однажды мы чуть не поссорились, когда Олег вдруг совсем уж ни к чему заинтересовался моим знанием немецкого языка: я помогала ему что-то перевести. Он даже брякнул: «Мне кажется, что у тебя в семье что-то неладно». Господи, уж как я вертелась, я готова была разойтись с Олегом, только не думать, что он что-то подозревает.

А родители беспокоятся, советуют быть умной...

Сестра почему-то ушла из Томского университета с математического факультета и перешла в Красноярский медицинский институт. На лето она приезжала к маме в Канск. Мне тоже очень хотелось побывать дома, но об этом нечего было и помышлять: во-первых — не на что, во-вторых — опасно.

Профессор Меттер был приятно удивлен, когда ставил мне по физике пятерку осенью.

— А что же это с вами весной было, коли я вам двойку вlepил?

— Весна, наверное.

— ???

— Ну да, в весне, видно, дело.

— Вы мои лекции посещали?

— А как же! Нас ведь проверяют, лекции пропускать нельзя. Но я до этой переэкзаменовки ничего не понимала в физике, да и в математике тоже. Только летом вдруг почувствовала, что это преодолимо. Но все равно все техническое мне трудно дается.

— Так зачем же вы пошли в технический вуз?

— О, потому что... так захотела.

Профессор взглянул на меня повнимательнее, еще раз открыл мою зачетную книжку, полистал, пожевал губами. Понял. Пожелал успехов в учебе.

Математику сдала с трудом на тройку.

Была рада, что Олега нет. Он бы обязательно обвинил в тупости. Он уехал на лето к матери. Возвращались в институт дипломанты на месяц позже нас.

Дядя продолжал посылать мне «ежемесячное пособие по тупости». Я клялась себе быть серьезной, заниматься с первого дня учебы.

Но это было очень трудно, всегда что-то мешало. На этот раз — первокурсник. Он лихо танцевал, пел, быстро со всеми перезнакомился, повадился заходить к нам в комнату и всегда умилял моих девиц щедрыми подношениями: то яблоки, то сливы, и все такое невиданное, спелое, крупное. С ним было весело. Он был грек, мать его жила где-то под Одессой. Сам он работал актером в каком-то провинциальном театрике под Одессой и бойко сыпал театральными сплетнями. А вот когда я спросила про отца, его желтоватые глаза прикрылись чуть дольше, чем положено:

— Нет у меня отца.

— Убит на войне?

— Нет.

— «Погиб на трудовом фронте»?

— Да, откуда ты знаешь?!

Пришлось что-то сочинять. Но он как-то недоверчиво и испуганно заозирался, быстрее обычного ушел. Вот тебе: весельчак, балагур, а как испугался! Значит, тоже с червоточинкой. Я не очень и удивилась; в Сибири было много ссыльных греков, а высланы они были, по-моему, как и немцы из Поволжья, только за национальность. Мне жаль было нашего «актеришку», как мы между собой его звали.

Но он шутливо клялся мне в вечной любви, а однажды пригласил в оперетту. С большим успехом шла какая-то советская оперетта про великие стройки. По сцене двигалось сооружение, изображавшее пароход, шедший вниз по Волге на эту самую стройку. Едут «он» и «она». «Он» — строитель шлюзов, «она» — архитектор. «Он» весь горел идеей великой стройки, «ей» больше хотелось жить в Москве. Вечером они держались за руки, склонившись над перилами чавкающего парохода, пели визгливо-

маслеными голосами разные страсти-мордасти про счастливую жизнь, а лихой капитан, матросы и рабочие, тоже катившие на великую стройку, дружно подпевали им и даже подплясывали. Общими усилиями ограждали архитекторшу от коварных происков ее прежнего поклонника — крупного инженера-подлеца, сбивавшего ее с пути истинного, уговаривавшего ее вернуться к нему в Москву.

Мне было скучно. Но в первом антракте мой спутник, сраженный великолепием постановки, декораций, интересным освещением, голосами, как-то особенно удачно сливавшимися в таких-то сценах, не расслышал моей жалобной просьбы отпустить меня домой. Он шептал мне на ухо что-то «скоромное» про актрис и разные театральные сплетни. Во втором антракте я сбежала. Он перестал со мной здороваться. Но когда Олег вернулся с каникул и я пришла к нему в радиоузел, мне вдруг принесли от «моего» грека пакет с огромными южными яблоками и приложенной запиской, которую Олег прочитал первым.

Я покраснела то ли от удовольствия, то ли от смущения. Надкусила яблоко, другое протянула Олегу. Он оттолкнул мою руку и попросил избавиться его от мерзких подношений всяких нахалов. И он ничего не имел бы против того, чтобы и я избавила его от своего присутствия. Я не уходила. Тогда он стал зло выговаривать:

— Я так и полагал, что таких особ, как ты, нельзя ни на минуту оставить в одиночестве, а я не собираюсь всю жизнь караулить тебя. У меня свои дела есть. Я могу себе представить, чем ты занималась все лето. И учти, я и знать не желаю. То, что мы с тобой дружим, здесь знают все, и ты могла бы, хотя бы из уважения ко мне, вести себя приличнее

и уж во всяком случае не заниматься черт знает чем со всякими «салагами». Я только показался на пороге общежития, как мне уже сообщили о твоих похождениях. Вероятнее всего, я бы тебе ничего не сказал, если бы этот прохвост не старался так настойчиво демонстрировать ваши отношения.

— У нас не было никаких отношений. У меня вообще еще не было никаких отношений.

— О, я давно хотел тебе сказать, что мне надоела твоя целомудренность, которая почему-то, видимо, распространяется только на меня.

Мне надо было уйти, но я не знала как. Наверное, Олег был прав насчет целомудренности. Я сама давно уже думала, что вовсе ни к чему так носиться с ней как с писаной торбой. Но насчет ее распространения он ошибался. Было обидно и неловко. Тихонько еще шевелилась мысль, что ревность — признак любви. Значит, Олег меня любит, а он ведь ни разу еще этого не сказал. Но почему же так некрасиво все это звучит и даже немного страшно?

Мы не встречались несколько дней. Потом вахтер принес записку: «Ваши дикторские обязанности вам надлежит исполнять, пока не будет найдена замена». Мы помирились. Олег очень извинялся, объяснял, что вид этих самых огромных краснощеких яблок его взбесил, да еще к тому — моя самодовольная рожа. И ведь принесли их нарочно, когда знали, что мы вместе. Во все он не думает, что я себя дурно вела, и вообще он давно хотел сказать, что любит меня и что он очень хочет, чтобы мы поженились.

От счастья я пустила слезу. Первое объяснение, первое предложение. Я бормотала что-то очень романтическое, мы обнимались, целовались; было очень хорошо и не совсем целомудренно. И только

крохотный червячок напоминал о себе постоянно, будто глубоко подтачивая счастье: «Никакой женьитьбы. Забудь об этом. Если ты его любишь — ты не должна ему портить жизнь: вся его карьера полетит к черту».

А он будто чувствовал, был очень нежен:

— О чем ты думаешь? Почему плачешь? Ты хочешь сказать мне что-то? Ты скажи, не бойся, от этого ничего не изменится, только легче будет.

— Что ты, милый, что ты, я просто очень счастлива, ты все знаешь обо мне. Теперь-то уж совсем все.

Я стала возвращаться в свою комнату по утрам.

В этом году нас в комнате было тоже шестеро, но разница между нами была всего два курса, а не четыре, как в прошлом году. Шурочка и остальные девочки, как и Олег, кончали институт в этом году.

Жили дружно, хотя народ был очень разношерстный. К занятиям относились очень серьезно; в комнате часто возникали обсуждения и споры по сугубо техническим вопросам, рисовались схемы, проводились расчеты. Я обычно изумленно молчала и чуть-чуть завидовала: они любили свою специальность. Но то ли от их увлеченности, то ли Олег на меня благотворно действовал, я тоже заставляла себя «осваивать ненавистную технику» и зимнюю сессию сдала вполне прилично, без троек. Больше всего была рада сообщить дяде, что отказываюсь — с огромной благодарностью за спасение — от «пособия по тупости».

К моим отношениям с Олегом привыкли. Он в нашей комнате бывал почетным гостем. Все пять лет Олег получал повышенную стипендию за отличную учебу, его часто приводили в пример на разных собраниях, а моим серьезным девицам это очень импонировало, тем более что они частенько

спрашивали его о разных технических премудростях и он им увлеченно объяснял. Я гордилась.

Жилось всем довольно трудно. Об одежде почти не думали, хотя ни у кого не было больше двух-трех неказистых платьев, одного пальто, одной пары туфель и резиновых бот. Девочки часто обменивались платьями, только мои никому не подходили — по причине узости...

Экономили страшно, но до стипендии редко удавалось дотянуть, хотя в расчет принимался даже проезд зайцем в институт и обратно. Старались варить дома, выходило дешевле. Все супы, будь то постные щи, гороховый суп, картофельный или крупяной, — словом, любое варево заправлялось поджаренным на сале луком. Сало почти все получали из дому.

В магазинах было полно продуктов: масло, молоко, вообще уйма всяких молочных товаров, колбасы, консервы. Хлеба и всяких булок было в изобилии. Появилась в продаже даже всех сортов икра и семга. Крабы в банках пылились на полках, их почти никто не покупал: не привыкли к подобным деликатесам, да и дороже других консервов они были. Но через несколько лет и крабы, и семга, и икра начисто исчезли из магазинов, как и многое другое.

Я дома не готовила. Утром и вечером выпивала по бутылке шоколадного молока с булкой, днем съедала в студенческой столовой обед. Экономила жутко: у меня была серьезная для этого причина. Летом родственники подарили отрез на пальто, и я горела желанием сшить мое первое настоящее пальто по последней моде — очень длинное, расклешенное, «с волнующимся задом», как тогда называли. Но к материалу требуется еще подкладка, какая-то бортовка, конский волос, пуговицы и воротник. Ничего этого в продаже не найти. Весь приклад

я достала по знакомству, а воротник — крашенный черный кролик — мне опять же в виде подарка прислали родственники из Литвы, которым я написала, что все еще по причине отсутствия воротника хожу в своем старом «лапсердаке», перешитом из тетиного. Зато в магазинах были страшно дорогой шифон, крепдешин, блестящий креп-сатин и какие-то сногшибательные панбархаты, которые носили только партийные и офицерские жены. Мы мечтали о штапеле. Это был какой-то новый сорт ткани, прочный и еще с разными достоинствами. Но положенные в одни руки пять метров мы иногда добывали всей комнатой сообща, потому что одной не удавалось выстоять в очереди все долгие часы начиная с ночи.

Жила с нами тихая, добрая девочка Галя. Для нее мы иногда доставали этот вот штапель или другие «труднополучаемые» товары из сочувствия и уважения к серьезности ее рода деятельности. Она работала по ночам. На очень ответственной и сверхсекретной работе. Нам не полагалось знать, что Галя делает, но мы все равно узнали, хотя никогда этого не обсуждали. Галя работала на радиоглушилках, установленных прямо в здании нашего института. Учеба давалась Гале с трудом, особенно марксизм-ленинизм, так как тут требовалось хоть какое-то минимальное красноречие, а Галя была из деревни, да к тому же очень молчаливая и не очень развитая. На себя она из заработанных денег почти ничего не тратила, все отсылала семье в колхоз. Работа ее изнуряла. Три раза в неделю она с вечера ставила будильник на три часа ночи, просыпалась, тихо, стараясь не шуметь, одевалась, постанывала, что-то шептала, выпивала стакан теплого чая, куталась в свое старое деревенское пальто балахоном, повязывалась по-деревен-

ски толстой шалью и уходила. Мы иногда встречались с Галей на лестнице (я возвращалась от Олега из радиоузла), она жалобно улыбалась и бормотала:

— Ничего, слава Богу, я, кажется, еще успею.

— А опоздаешь, что тогда?

— Что ты, что ты, сплунь, мне на секунду опоздать нельзя, Господи упаси!

— А поспать ты там не можешь? Хоть подремать чуток?

Галя улыбалась мне, как ребенку:

— За это знаешь что могут сделать... Да нет, я там и спать со страху не хочу. Ну, пока, иди спать, тебе-то тоже мало осталось.

Мы очень жалели Галю, никогда ее не расспрашивали, хотя я, например, очень хотела узнать, что она там глушит. Сначала я вообще не понимала, что это за глушилки, но мне объяснила Рита. Она училась вместе с Галей на четвертом курсе.

— Это специальная установка, работающая по такому же принципу, что и радиостанция, только она создает шум, чтобы заглушить другие станции.

— А зачем их глушить?

— Не знаю и знать не хочу.

— Но, Рита, это сколько же денег стоит! Шум, выходит, должен быть громче голоса станции. Это же какую мощность надо расходовать! Мы проходили уже это по радиотехнике...

— И мы проходили. Но раз это делают, значит — так надо. Все. Не желаю больше касаться этой темы.

Мы молча сочувствовали Гале, понимая, как важно не пропустить что-нибудь вредное в эфир.

Была у нас еще одна девочка из деревни, Маша. Из Смоленской области. Маша была разговор-

чивая. Иногда у нее бывали настоящие приступы злобы. Она побывала в оккупации, и это портило ей биографию. Всегда, когда требовалось заполнить разные анкеты, а это случалось по нескольку раз в учебном году, Маша принималась плакать и злиться:

— Уж сколько я этих анкет заполнила — не перечить. И всякий раз та же петрушка: «Чем занимались в оккупации?» Чем занималась да чем занималась! Ничем я не занималась — в огороде с матерью копалась, сестер своих нянчила, голодала. Да и всего-то было мне двенадцать лет в эту проклятую оккупацию. Я и немцев-то, будь они неладны, в своей деревне в глаза не видела. А вся жизнь испорченная.

Из всех обитателей комнаты одна Рита вступала в полемику:

— А что ты думаешь, нельзя же всем доверять. Может, тебя немцы с каким-нибудь заданием оставили.

— Вот-вот, это в двенадцать-то лет! Да я и немецкого не знаю, и вообще; я ж говорю, немцы только прошли через нашу деревню, и больше мы их не видели. Ох, девочки, какие ж мы все злые. В деревне нашей такой доверчивый народ, сердечный, а как приехала я в город, так сама как цепная собака сделалась, тоже вот, вроде Ритки, «нельзя доверять». Я аж иной раз трясусь от злости, и в плач бросает вроде ни с чего. Так обидно бывает на несправедливость людскую, на злобу, на недоверие. А уж парни так погано пристают. В деревне на меня никто и смотреть не хотел, худая была, а тут — матросы и солдаты прямо на улице вяжутся, нескромности всякие предлагают. Я уж себя как блюду, все думаю, кто-нибудь из городских замуж возьмет, не придется на нашу голодуху возвра-

щаться. А городские привыкли к испорченным девушкам, им только одно и надо. Еще и обзывают плохими словами, когда отказываешься.

Маша была красивая. Лицо не деревенское — узкое, изящное, с точеными чертами. Еще более привлекательным его делали волнистые пушистые волосы и глаза странного, совсем светло-коричневого цвета, да еще с темными крапинками. Правда, фигурой не вышла: никаких округлостей, костистая, плечи чуть приподняты, угловаты, пальцы неровные, узловатые. А ноги, тонкие, чуть кривоватые, не привыкшие к каблукам, делали Машину походку неестественной, будто подскакивающей. Никто ничего Маше из дому не присылал. Стипендии едва хватало на скудную еду, а Маша еще и на этом экономила: копила на «обмундирование», которое считала совершенно необходимым для привлечения городских женихов. Иногда Маша садилась за стол со своей неизменной миской горохового супа и принималась рассуждать:

— И чего мучаюсь? Живот только пучит, а есть все равно хочется. И костлявая, что твоя кляча колхозная. На лицо как мухи кидаются, а от прочего носы воротят. Думают, дураки, что в этом счастье. В деревне, паразиты, титьки да толстые зады высматривают, а этим — чтоб фигура была. Мамзель, значит, требуется, чтоб задком вертела да глазами сигала. Ни один порядочный еще не попался. Только дурачок мой будто и на самом деле меня любит, да с ним каши не сваришь: ему жениться на мне не разрешат — иностранец. А говорит, что любит и жениться хочет, аж до чего дошел — руки мне целовал. И парень-то хороший и собой видный, и отец, говорит, врач у него, значит, хорошо живут. Так надо же какая беда — иностранец.

Парень и в самом деле был очень славный. Рослый, красивый, воспитанный и, видимо, по-настоящему любил Машу. Они частенько стояли ночью в коридоре общежития и отскакивали друг от друга, когда где-то хлопала дверь.

Маша жаловалась и на него:

— И иностранцы-то не лучше наших кобелей: вчера мой так пристал, так пристал, чуть по морде не пришлось бить, кое-как утишила. Обнимал, целовал, а потом стал прижиматься все тесней и тесней, да засопел, как зверь, да покраснел, да задрожал. Я вся перепугалась, как бы чего не натворил. Он ведь здоровый как бык, мне бы век с ним не справиться. Да, на мое счастье, кто-то в уборную пошел, он и отскочил. И долго еще трясло его, а потом стал мне объяснять, что больше, мол, не может он так, он, мол, живой человек, а не бревно; год уже целый, как мы в коридоре стоим, а в комнату я к нему не хожу. И говорит, что мог бы так устроить, чтобы никого из ребят не было, и мы могли бы хоть раз побыть одни. Я спрашиваю: «А зачем?» Так он засмеялся и говорит, что когда друг друга любят, то не только в коридоре ночи простаивают. Я-то сразу поняла, но нарочно, чтоб узнать, что он скажет, говорю: «А кто ж меня потом замуж возьмет?» Он стал пуще смеяться и говорит, что у них на это больше не смотрят. Тут я разозлилась и брякнула: «А у нас смотрят. И живу я не у вас, а у нас, и пожалуйста, господин хороший, с этим считаться». Так представьте, девочки, он обиделся. Попрощался, в щечку только поцеловал и ушел. Грустный такой.

Но разошлись они всерьез из-за пустяка. Наша Маша чувством юмора не отличалась. Размолвка произошла в нашей комнате.

Сидели мы за общим столом, за ужином в склад-

чину, и иностранец Машин с нами. И вдруг он пошутил:

— Девочки, я уже шестой год учу русский, а все равно все тонкости не усвоил. Объясните мне, пожалуйста. Если девушку сокращенно зовут Галя, то ее полное имя — Галина. Если Поля, то — Полина. А если Маша, то выходит, что полное имя Машина?

Мы хохотали. Маша насупилась.

— Выходит, Машенька, что ты у меня машина? Легковая или грузовая, а может, ты дизель? Маша — дизель Горьковского автозавода, Маша-ГАЗ.

Это было слишком... Маша уперлась в стол:

— Ах бессовестная твоя морда заграничная. Сам-то, сам-то, люди добрые, имечко-то какое носит, а над хорошим русским именем издевается. Самого с людьми знакомить стыдно, домой нельзя написать, с кем дружу, испугаются, что зверь какой-то. Ыштван! Девочки милые, это же надо нахальства набраться — с таким именем над другими смеяться. Ыштван (при этом она напирала на букву «ы», хотя прекрасно знала, что звали его Иштван), аж выговорить невозможно, язык сломаешь. К вашему сведению, Ыштван, меня зовут Мария. И я тебе сейчас такую «машину» покажу, что забудешь дорогу к нам в комнату. Пошел вон, паразит иностранный.

Поддывая, всхлипывая, Маша подскочила к нему, испуганному и посрамленному, и стала колотить его кулаками.

Выгнала. Всем было неловко. А Маша еще долго поносила родителей, давших сыну такое непутевое имя, которое при людях и выговорить стыдно, и его самого, что «ни мычит ни телится», и раз все равно

нельзя пожениться, то и к лучшему, что выгнала этого дурака.

Тогда они разошлись. Но через несколько лет, вернувшись из Сибири, уже после смерти Сталина, в царствование Хрущева, я узнала, что Маша и Иштван поженились и он увез ее к себе в Венгрию.

Олег получил диплом с отличием. Его оставили в Ленинграде, в том же «почтовом ящике», где он до этого работал. Но возникла очень серьезная проблема: где жить? Из общежития его сразу после защиты диплома попросили уйти. Мы ходили по всему городу, ездили на окраины, спрашивали дворников, рабочих, всяких встречных и поперечных, не знают ли они, где можно снять комнату или хотя бы угол. Между делом ходили в кино, просто гуляли, благо я на зимние каникулы осталась в Ленинграде, чтобы побыть с Олегом. Да и ехать некуда было.

Я часто во время сеанса косилась на Олега. О чем он думает? Но он всегда очень серьезно смотрел на экран, поглаживал мою руку и совершенно не реагировал на мои фырканы и ухмылки. Мы выходили из кино всегда молча. Позже это меня изумляло: ведь у фильмов должно быть содержание, о котором можно спорить. Фильм может нравиться или не нравиться. А мы молчали. Говорить было не о чем. Следовало плюнуть. Но нельзя было плюнуть,— это потребовало бы слов. А мы боялись слов. Если бы кто-нибудь осмелился сказать, сколь плох, фальшив был фильм, то нужно было бы и о книгах, и о картинах, да и о всей нашей жизни сказать, как плохи и фальшивы они были. Я знала про деревенскую жизнь от Маши, знала, каково живет Галиной семье, да про Си-

бирь, про наше житье-бытье я бы многое и сама могла рассказать. А на экране показывали веселых колхозников, песни и пляски. Будто только тем они и занимаются, что сидят за длинными столами, произносят тосты и здравицы, пьют вино и едят поросят с гречневой кашей. Герои на фабриках, герои в школе, герои в колхозах. Сплошные герои. А где же обыкновенные люди, где же их заботы? Все лживо и уныло при всей показной бодрости. Не о чем было говорить.

Поэтому, наверное, когда на экранах вдруг появился «Тарзан» во многих сериях, очереди за билетами были огромными, студенты срывались с занятий, благо «Баррикада» была за углом и днем билеты дешевле...

Надо сказать, что мне запомнились проделки Читы, обезьяны из «Тарзана», больше, чем героические поступки или просто содержание хотя бы одного-единственного фильма тех времен. В лучшем случае оставался в памяти хорошо исполненный отрывок из концерта Чайковского или смешной розовый поросенок на блюде посреди заставленного обильной закуской стола, в то время как из окрестных деревень колхозники приезжали в Ленинград за хлебом, а в Сибири за ним еще стояли в длинных очередях.

То же самое с книгами. Ничего не оставалось, кроме оскомины: фальшь, сплошная фальшь, бодренькая, надуманная, бесцветная, по единому рецепту той же кухни, в которой стряпались фильмы и постановки и малевались эти унылые, безобразные, огромные, на целую стену, картины улыбающихся сталеваров, или сталинских соколов, сбивающих зарвавшихся гитлеровских асов, или глубокомысленно погруженных в светлые мысли вождей. Все было так здорово «приго-

товлено», что говорить больше было не о чем. Нас избавляли от мыслей: все правильно, раз так должно быть. Мы даем рецепты, мы варим, а ты ешь да и знай похваливай. Кто-то хвалил. Мы молчали. И многие молчали. Понимали, что это ложь? Не знаю. Я испытывала неловкость. Тогда я еще была рада, что Олег тоже молчит. Но позже, когда мы встретились с ним в Сибири, я не могла больше молчать, а он хранил все то же молчание. А меня сама жизнь научила. Душа перестала принимать отраву с той фальшивой кухни.

Но тогда мы очень любили друг друга. Комнаты мы так и не сняли — не было таких. Олег теперь искал угол. И нашел: в одной комнате с хозяйкой и ее дочерью двадцати лет. Видимо, они надеялись на прелести дочери и непрочность ситцевой занавески, отделяющей угол Олега от кровати дочери. Мы наскоро целовались в ванной комнате, но там нельзя было долго задерживаться: квартира коммунальная, большая, жильцы принимались стучать в дверь.

Весной было проще: можно было бродить по городу. Олег и зимой мог подолгу гулять на морозе, но у меня сразу начинали застывать еще в Сибири отмороженные руки. Мы искали уединенные уголки, но где же в Ленинграде найти их, когда столько бездомных влюбленных? У Тучкова моста строили стадион. Там обычно мы и встречались, съезжаясь: я — с Васильевского, Олег — с Петроградской.

Олег иногда раздражался:

— Не понимаю, почему тебе так нравится зябнуть? Мы оба теряем время, теряем нервы на эти, прости, прогулки. Почему ты так против того, чтобы мы поженились?

Но я любила Олега. И знала, что женитьбой испорчу ему жизнь. Он только начинал распрямляться. Жизнь у него тоже была несладкая: отец погиб на фронте, мать одна воспитывала его и маленькую сестренку. Олег все годы учился и работал. Связавшись со мной, он и мечтать бы не мог о карьере на научном поприще. Честолюбив же он был чертовски и талантлив, видимо, тоже, раз сразу после института и в Ленинграде оставили и в аспирантуру приняли. Я думаю, Олег не раз задумывался, чего ему будет стоить женитьба на еврейке. А уж о прочем он и не догадывался...

Обычно я отшучивалась. Иногда уговаривала:

— Ну подумаешь, кто-то на нас косо смотрит! Так они ханжи. Меня трогает, что ли, что какая-то дура со мной не здоровается, потому что я «развратная»?!

— Меня трогает.

— Ну и напрасно. Вот если мы с тобой найдем настоящую комнату, с собственной дверью, а не этот страшный угол за шкафом, так я вообще к тебе перееду, и никто знать не будет, что мы неженаты. Мама наши далеко, а чужим зачем о себе докладывать? Ведь не будут же у нас требовать брачное свидетельство?

— Будут. Еще как. Комнату без этого свидетельства на двоих не снимешь. Летом без него никуда не поедешь: в гостиницу не пустят. Предположим, что я найду себе комнату, а ты будешь приходить. Коли хоть один сосед будет недоволен, что ты на кухне показалась или в уборную пошла, так потом штраф в милиции придется платить за нарушение паспортного режима. И позору не оберешься: на работу звонить будут. И вообще, я первый раз слышу, чтобы девушка не хотела замуж. Может, у тебя на этот счет какие-то осо-

бые соображения? Так ты поставила бы и меня в известность, как-никак заинтересованное лицо.

Мы даже ссориться начали, расходились «насовсем», мирились, любили, но моя вечная тревога незаметно передалась и Олегу. Ничего конкретно не зная, он нутром почувствовал, что это из-за него я не хочу связывать нас штампом в паспорте.

За второй курс экзамены я сдала вполне прилично, всего две или три четверки. Кончилась ненавистная математика, сопромат и прочие теоретические технические премудрости, ушли непонятые, неоцененные.

Олег уехал к матери, в среднюю полосу России; после экзаменов и я поехала к ним. То лето было самым счастливым в моей жизни.

От большой узловой станции на железнодорожной линии Москва — Владивосток, где Олег встретил меня, мы автобусом доехали до небольшого пригородного поселка, где надо было еще раз пересесть, чтобы ехать до того места, где жила мать. Но мы пропустили последний автобус, и нам пришлось заночевать. С трудом нашли женщину, которая уступила свою кровать, а сама ушла спать на сеновал. Мы побродили немного по поселку, полюбовались на звезды, Олег рассказывал про здешние места. Мы впервые чувствовали себя по-настоящему вместе. Долго не могли уснуть от счастья. Ровно через полгода мне снова привелось побывать в этом поселке...

Как-то не верится, что такое бывает: месяц — без проблем, без раздражения, ровное, спокойное,

ощутимое счастье. Мать Олега отнеслась ко мне хорошо и очень мудро, ни о чем не спрашивала, ничего не советовала, будто просто признала меня членом семьи. Я была ей очень благодарна, так как ее мудрость, странная для члена партии и человека, занимавшего весьма ответственный пост, избавила меня от неприятных и опасных разговоров, разоблачающих мое «темное» прошлое. И настоящее. И, конечно, будущее.

Наши утра начинались с обсуждения — чем заняться: грибами, ягодами, рыбалкой или просто прогулкой, пешком или на велосипеде. По грибы мы выходили технически оснащенными: бутылки на бечевке — для крошечных рыжиков под маринад, ведра — для настоящих белых грибов-боровиков, причем срезались только молодые, рюкзак — для подберезовиков и подосиновиков — на «жарешку». Малину и чернику мы тоже носили ведрами. Я там научилась варить варенье и вообще приобщалась к хозяйству. Только коз я так и не научилась доить. Мне казалось, что им больно при доении, да я немного боялась их в темном хлеву: в первый раз, когда мать уехала на несколько дней в город и поручила мне коз, эти бестии съели у меня фонарик вместе со стеклянной лампочкой, который я неосторожно поставила в пределах их досягаемости. В кромешной темноте, под хруст стекла на козых зубах, я от ужаса боялась шелохнуться, а они издавали какие-то утробно-ликующие звуки и блистали зелеными глазами. Но Олег очень ловко с ними справлялся.

Больше всего радости мне доставляла рыбалка. Примерно в километре от дома текла река, не очень глубокая, не очень быстрая, извилистая и довольно широкая. Весной по ней сплавляли лес, и повсюду виднелись завалы топляка. Там водилась рыба.

На удивленье Олега, считавшего меня страшной непоседой, я по многу часов просиживала с удочкой, стараясь перехитрить хитрых голавлей. Но голавль — рыба осторожная: ходили они небольшими стайками в насквозь прозрачной воде, в глубине, пронизанной солнечными лучами, между прибрежными валунами или завалами бревен, и будто видели меня. Я выберу одного, самого жирного голавля, осторожно подведу крючок с мухой прямо к его носу, иногда даже уложу наживку прямо рыбе на голову, а та будто усмехается — не берет. Зато речные окуни мгновенно заглатывали червяка прямо с крючком. Пескарей мы переловили видимо-невидимо. Мать обжаривала их в муке, и мы ели их, как семечки.

Но основную нашу рыбную добычу составляли налимы. Олег ходил по грудь в воде, иногда даже плавал на глубине с острогой в руках и выбирал налимы «стоянки». Здоровенные, как поросята, налимы обычно неподвижно стояли на дне реки носом к течению и, чуть-чуть пошевеливая хвостом, вздымали ил. Обнаружив «зверя», Олег обычно осторожными движениями остроги выводил налима на, как мы называли, «оперативный простор» и там уже вынимал его. Я ходила по колено в воде с ведром вдоль берега и служила в основном грузчиком. Но между делом иногда и я обыкновенной вилкой вылавливала маленьких налимов. Не знаю, повсюду ли налимы столь ленивы, как те, средне-русские. Ведро становилось тяжелым, я ворчала. Зато на следующее утро к завтраку нас ждал потрясающе ароматный пирог с налимьей печенкой.

Один случай кажется мне настоящим сном.

Я сидела на краю ярко освещенной солнцем поляны в лесу, глубоко задумавшись. Вдруг вы-

скочила белка. Прошлась забавно эдак, приподнимаясь на задние лапки и изучающе оглядываясь, и будто присвистнула. Как из мешка, высыпались на поляну бельчата, штук шесть или семь, смешные, рыженькие, пушистые, и уселись в ряд. А белка-мама (может, это был папа) принялась важно прохаживаться перед ними, будто на военном ученье перед строем. Те крохотули то сидели смирно, то приподнимались на задние лапки, шатаясь при этом, трогали передними лапками носишки, а иногда по двое-трое выходили из строя и проделывали, очевидно, какое-то мне неведомое упражнение. Я смотрела, замороженная.

Но вдруг меня будто бес толкнул: с криком бросилась вперед, на ходу срывая с себя куртку, набросила ее на бельчат и успела заметить, что первой улизнула мама (или папа). Бельчата тоже бросились врассыпную, но двое остались под курткой. Я в восторге запустила туда руку, хотела их погладить. Ох и цапнули же они меня сразу в два пальца — как иголки загнали. Олег прибежал на мой восторженный вопль. Состоялась довольно бурная дискуссия о дальнейшей судьбе бельчат. Олег сказал, что здесь их безжалостно истребляют, так как за шкурку дают пять рублей на специальном пункте. Эти пять рублей и решили судьбу моих бельчат: я решила их воспитывать...

Беличьи укусы долго не заживают. Кусали эти детки меня частенько всякий раз, когда я пыталась установить с ними дружбу. Но к концу лета они привыкли ко мне и к Олеговой матери, пили молоко из блюдечка, как котята, и, сидя на задних лапках, презабавно лузгали семечки и грызли орехи. Я носила им сосновые шишки. Однажды забыла закрыть клетку. Белки исчезли. Вечером мы с Олегом сидели на скамейке перед домом. Раздалось

знакомое пощелкивание, и ко мне на плечо скакнули наши бельчата.

Мы оставили их у матери: в Ленинграде нам самим было негде жить. Мать подробно описывала их проделки. А следующим летом, уже в Сибири, я получила от Олега письмо, где он писал, что белки сбежали, теперь уже насовсем.

Мне следовало быть в Питере к первому сентября. Олег поехал на несколько дней раньше, чтобы поискать комнату. Повезло несказанно: в небольшой квартире, всего на четыре семьи, ему сдали комнату. Очень маленькую, метров восемь.

Но кровать, стол и стул вмещались, шкафом служила протянутая веревка, куда вешались рубашки и единственный пиджак. Дверь комнаты, правда, выходила на кухню, откуда слышался даже очень тихий разговор, не то что ругань. Но настоящим бедствием была сумасшедшая, жившая в этой квартире. Это была полная, очень миловидная, серьезная, образованная молодая женщина, кандидат философских наук, помешавшаяся, как сказала ее мать, на «любовной почве». Она караулила Олега на кухне, и, если он вовремя не успевал улизнуть, на него обрушивался шквал угроз попеременно с любовным лепетом и цитатами из диамата. Олег ее боялся, я — еще больше: во мне она видела разлучницу.

Я обычно оставалась у Олега только с субботы на воскресенье, всю же неделю жила в общежитии, где на этот раз мне дали место в комнате с однокурсницами, только с другого факультета. Опять нас было шестеро в комнате. Все очень разные. Одна, Надюша, — член партии. Ее подруга-эстонка, как и я, никогда не упоминала о родителях. С одной девочкой, из-под Новороссийска, я очень подружилась. (Она кстати, была единственной,

которая после моего исчезновения не побоялась рассказать Олегу все, что в ту ночь произошло. Она потом даже вложила сердечную записку в письмо Олега ко мне.)

Жили очень дружно, устраивали общие ужины с горячей картошкой и селедкой, иногда даже с вином, если приглашались приятели. Предпринимали «культпоходы» в баню. Иногда велись разговоры «про жизнь». Начинали задумываться о распределении, хотя впереди было еще три года. Предстояла первая производственная практика.

С начала учебного года на третьем курсе заполняли анкеты. Некоторых на практику посылали на завод в Ригу; я боялась заикнуться, что я родом оттуда, чтоб кто-нибудь не заинтересовался, почему тогда моя мама в Сибири. Все думали, что семья осталась в Сибири после эвакуации.

Заниматься приходилось много. Начались специальные предметы, стало больше практических занятий. Даже увлекательно бывало, и мне иногда казалось, что техника — не для одних только избранных. Особенно мне понравилось возиться с паяльником (запах канифоли любила)...

Наша партийная Надя иногда стыдила меня за отсутствие интереса к общественной деятельности. Сама она пропадала на партийных, комсомольских и прочих собраниях, сгоняла таких «необщественных», вроде меня, на всякие воскресники. Надя часто готовилась к лекциям «О международном положении» и к докладам на технические темы. В это время в нашей комнате появлялись газеты: Надя делала выписки. Радио включалось, только чтобы проверить время и саркастически улыбнуться при сводках погоды; часто шел дождь вместо объявленного солнца. Но это, пожалуй, была единственная область, где допускалась критика.

С Лялей мы по-прежнему очень дружили, встречались часто «по-семейному»: мы с Олегом и Ляля со своим другом, который ждал развода, чтобы жениться на Ляле. Когда я рассказала ей о своих отношениях с Олегом, она принялась плакать о моей потерянной чести, о попорченной чистоте, всхлипывая, гладила меня по голове, по рукам, говорила, как важно донести себя незапятнанной до замужества. А примерно через три месяца после этого Ляля, так же всхлипывая, объявила мне, что беременна. И что оставить ребенка ни в коем случае нельзя, а аборт запрещены, но что ее возлюбленный обещал найти врача, который за огромные деньги сделает аборт в строго секретной обстановке. И не буду ли я столь добра встретить ее после аборта и привезти домой в общечитие.

Я три часа мерзла на улице. Когда же увидела Лялю, ту трудно было узнать. Совершенно серое, будто мертвое, лицо, странный взгляд. Только в такси она прошептала, что такого ужаса, такой боли и стыда она не пожелала бы своему самому страшному врагу. Оказывается, все происходило на кухонном столе в коммунальной, на две семьи, квартире, и надо было успеть до того, как соседи вернуться с работы. Никакого наркоза. И стонать было нельзя, так как с лестницы могут услышать. Об этом ее предупредила врач, сказав, что если их поймут, то обе попадут в тюрьму. Стоило это удовольствие три месячных стипендии, но Ляля получила деньги из дому, что-то наврав родителям.

Олег потом рассказывал мне, как Ляля плакала, узнав о моем исчезновении. Но когда он как-то спросил ее, не хочет ли она мне написать, сказала, что родители не разрешили ей вступать со мной в какие бы то ни было отношения. Она извинилась,

объяснив, что это могло бы вредно отразиться на положении ее отца — политработника в армии.

...От маминых писем вдруг повеяло тревогой. Писала, что отец, не повидавшись, проехал через Канск, что он теперь всегда будет жить неподалеку от нашего прежнего села Дзержинска. Все это писалось намеками, полужазами, но я ловко научилась расшифровывать ее письма. В последних письмах появилось совсем неприятное: «Помнишь ли ты Левку, такого непослушного мальчика нашей соседки Розы? Так вот этот сорванец (он уехал в одно время с тобой, к родственникам) вдруг исчез, подумай, какой прохвост, и Роза даже не знает, где он. А Ирочка недавно приехала к маме. Бросила институт в Москве на третьем курсе и очень была рада встретиться со своей мамой. Может, и ты приедешь?» Я понимала. Я хорошо помнила и «прохвоста» Леву, и Ирочку, таких же, как я, детей ссыльных, уехавших к родственникам несовершеннолетними. Значит, Леву арестовали, и он сидит, а Ира, видно, узнав, что и ей это же грозит, сама предпочла вернуться к матери в Сибирь. Мама звала меня домой. Предупреждение было довольно грозным.

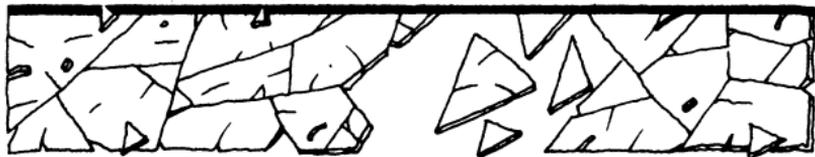
Но разве веришь в девятнадцать лет, что с тобой может случиться плохое? Да еще когда так счастлив, как была счастлива я... Олег никогда не читал маминых писем. Но догадывался по моему состоянию, что я получила письмо. Иногда он спрашивал, что делает моя мама, чем занимается сестра, и по моим куцым ответам понимал, что лучше не спрашивать. Чутьочку обижался. Его мама писала, обращаясь к нам обоим.

В уборной института повесился наш лектор по марксизму-ленинизму. Не было некролога, не было похорон. Исчез преподаватель с кафедры вакуумных приборов, потом другой — с кафедры электрических машин. Бесследно пропали два студента: один — ленинградец, второй — из общежития, с пятого курса. Никто ничего не спрашивал. Раз исчез, значит — так надо.

ДЕЙСТВИЕ IV Путешествие из
Петербурга в Сибирь



Арест



Мы распрощались с Олегом у входа в мое общежитие, договорившись утром встретиться на Московском вокзале: должна была приехать его мать. А только что купленные для меня коньки он взял к себе — каток ближе к его дому. Счастливая и замерзшая, — было начало декабря, — я ворвалась в теплый вестибюль, успев отметить, что за столом вахтера сидит кто-то чужой. «Красивый парень, не наш, не студент», — подумала. И каково же было мое удивление, когда он вдруг позвал меня. По фамилии, но «гражданка». И весьма учтиво попросил меня пройти с ним в маленькую комнатку рядом с вахтерским столом, о существовании которой я и не подозревала. Как только дверь за нами закрылась, он протянул мне какую-то бумагу и буркнул уже безо всякой учтивости:

— Вы арестованы. Вот ордер. Читайте. Ознакомились? Так вот. Постарайтесь не устраивать истерик, все равно не поможет. Мы сейчас спокойненько поднимемся к вам в комнату. Там как раз обыск идет. По дороге вы ни с кем не будете разговаривать, идите как ни в чем не бывало. Затем поедете с нами.

— Куда?

— Увидите.

И добавил, глядя на мою полную вопросов физиономию:

— Вопросов не задавать, и так все ясно.

Вот ОНО. Пришло. С семи лет, с тех пор, как ночью прозвенел этот страшный долгий звонок и нас увезли в Сибирь, я никогда не знала покоя. Это — «наследственное», от матери: она тоже с того самого часа не знала покоя, все ждала, что случится ЧТО-ТО. Не знала ЧТО, главное — плохое. Во мне тоже глубоко и прочно засело это: «Вот-вот грянет». Но оно не мешало мне радоваться жизни, влюбляться, смеяться, танцевать до одури, в общем, быть счастливой, только вроде бы с маленькой червоточинкой. Жил во мне червячок. Чаще спал. Но любил о себе напомнить в самые счастливые минуты: чтоб не зарывалась, значит. Кольнет в сердце — и опять спать. Чтоб не забывала свою ущербность.

Но такой уж характер: все равно смеялась, все равно радовалась, увлекалась, влюблялась. И когда ОНО наконец пришло, в виде красивого парня с ордером на арест, то показалось не таким уж страшным. Просто — вот ОНО, здрастье.

Наша комната в общежитии была на третьем этаже. Шел обыск. Гробовая тишина. Мои подружки с застывшими лицами сидят вокруг стола. Содержимое моей тумбочки вывернуто на стол. Чемодан, обычно стоящий под кроватью, тоже распотрошен. По кровати разбросаны трусики, лифчики, полотенца. Кровать вся разворошена.

«Господи, чего они ищут? Как у преступника роются!»

Рылись двое мужчин. Это выглядело таким бесстыдным, особенно эти бюстгальтеры на кровати,

что и я себе показалась голой. И перехватило горло. И вот-вот хлынут слезы. Я судорожно глотала, но они все же потекли. От этого было еще позорнее.

— Соберите свои вещи и одевайтесь. Нет, нет, никаких записок, никаких устных распоряжений, никаких разговоров. Ваши вещи будут в машине. Выходите и спускайтесь вниз, будто гулять идете. Без разговоров. Все. Идите.

Паспорт, комсомольский билет, зачетную и студенческую книжку, письма и всякие бумаги они забрали; деньги — все до копейки — тоже. Один из трех моих «кавалеров» понес мои вещи, а я с двумя отправилась гулять, спокойно, без истерик, как было приказано.

— До свиданья, девочки! — это я, в дверях, неуверенно.

Никто не ответил. Они так и сидели вокруг стола с застывшими лицами. Как столбняк их хватил. Было обидно. Жили мы дружно, до стипендии обычно в складчину дотягивали.

У входа в общежитие, чуть в сторонке, стояла серая «Победа». Поехали.

Мы проезжали изумительные места; я с любовью взглянула на сфинксов, привезенных из древних Фив, на университет, который негостеприимно закрыл свои двери передо мной, на замерзшую Неву под Дворцовым мостом, на силуэт моей любимой Петропавловки, на освещенный Исаакий и сверкающую иглу Адмиралтейства. С моста мы свернули налево, и я думала, что вот ведь как странно устроен человек: его черт знает куда везут, может, расстреляют, может, на всю жизнь посадят, а он любит городом. А что думает, интересно бы

знать, мой красавец сосед? Любит ли он Ленинград?

На мостике над каналом у Летнего сада вдруг пребольно стрельнула в сердце мысль: «Больше ты этого не увидишь».

Я уже поняла, куда меня везут: в Большой дом. Это — страшный дом. Его обходят стороной; в этом доме всю ночь освещены окна; я еще девчонкой в Сибири слышала, что из этого дома не возвращаются, как из Лубянки в Москве. Он на Литейном.

Спутники мои молчат. Я проливаю внутренние слезы по Питеру, по Олегу. Как он узнает? Что подумает? Неужели ему скажут, что я преступница? Ведь им как-то придется объяснять, за что меня арестовали? А сказать-то нечего! А завтра еще мама его приезжает. Он сначала рассердится, что меня на вокзале нет, подумает, что проспала. А потом оба забеспокоятся. И будут звонить в общежитие, а там им что-то невнятное будут бормотать, ведь и сами ничего толком не знают, впрочем, как и я. И как он теперь будет жить без меня? А я без него? И буду ли я вообще жить? Ох, ведь мне всего только девятнадцать лет. Что же они со мной сделают?

И много-много грустных мыслей расстроили меня окончательно. Но я не плакала. Только в горле и чуть пониже будто кто-то крепко ухватился за натянутые струны и все крепче накручивал их на кулак, так, что дышалось с болью и, что было совсем плохо, казалось, что не слезы, а какой-то поток горячей воды вот-вот хлынет из глаз.

Скосив глаза на своего соседа-красавца, поймала его взгляд. Даже показался сочувственным. И внезапно, совершенно неожиданно для себя, наверно только чтобы не побежали слезы, я громко спросила:

— Это что же, ваша работа?

— ???

— У вас работа такая — арестовывать таких, как я, ни в чем не виноватых?

Может, и почудилось в его глазах сочувствие, но сейчас они стали каменными.

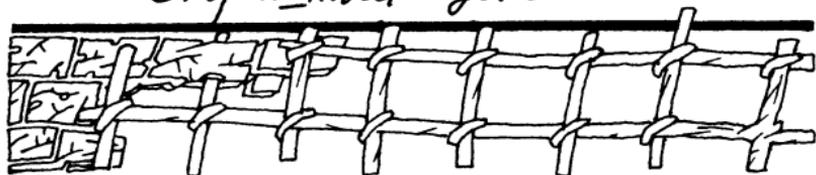
— Так вы, оказывается, философ! Не зря, значит, вас арестовали.

«Вот те раз: он, видите ли, знал, что зря, а раз философ, так вот и оправдание».

Я думаю, что его-то и следовало за такое объяснение арестовать: уж очень он толково разъяснил установки того времени.

Но ответить я не успела. Машина подъехала к высоченным черным воротам того самого Большого дома, но не с Литейного, а со стороны улицы Войнова. Они тут же бесшумно открылись, и машина вошла, будто в шлюз. Ворота так же бесшумно закрылись за нами, а впереди оказались вторые, точно такие же. Эти открылись, пропустили нас, закрылись, и мы оказались во внутренней тюрьме. Была ночь.

Страшный дом



Дежурный долго проверял бумаги и что-то вполголоса говорил моим «арестователям». Он объяснял, что, мол, мужчине сдать он меня не может, а женщина очень занята, придется подождать. Те были недовольны: устали. Потом появилась женщина в белом халате, увела меня в соседнюю комнату.

Пришла еще одна — видимо, медсестра. Велели мне раздеться.

— Вещи на стул.

Я по очереди снимала одну часть туалета за другой и после каждой выжидательно смотрела на них.

— Все, все, да шевелись побыстрей!

Стояла голая. Было неприятно от их внимательного разглядывания. Они тихо переговаривались и что-то записывали, взглядывая на меня. Подошла медсестра, подняла мне руки, заглянула в рот, зачем-то потрогала голову.

Ах ты Господи! Оказывается, я утаила что-то важное: в косах плетены были ленты, да несколько заколок осталось.

— Расплети косы. Заколки и ленты — на стул. (Потом мне объяснили, что на лентах можно

ведь и удавиться.) В углу — клетка из толстой проволоки. Туда меня и поместили. Велели встать ногами на стул. Я стояла голая, с распущенными волосами... «Лорелея в зоопарке», — мелькнуло, но чувствовала я себя прескверно на этом пьедестале и под этими недобрыми взглядами.

Потом они, после каких-то манипуляций с моими вещами, стали подавать их по штучке в окошко клетки и велели мне одеваться, так вот, балансируя на стуле.

Трусики — без резинки, пояс — без резинок, юбка — без застёжки, джемпер — тоже. Ничего не держится. Ужасно неловко так суетиться. И ленты мне тоже не вернули. «Ну зачем я послушалась Олега и не отрезала косы; ведь мне так хотелось подстричься модно. А ему нравилось зарываться лицом в эту густую копну. Посмотрел бы он сейчас на меня...»

Процедура закончена. Женщины передали меня конвоиру, и тот повел меня бесконечными коридорами и лестницами, по мягким ковровым дорожкам. Шли долго. Наконец на каком-то верхнем этаже, за поворотом, остановка. Дверь с трехзначным номером. Открылась, пропустила, закрылась. Никого... Огляделась. Ничего, вполне прилично: слева от двери — койка, на ней матрас, подушка, одеяльце тоненькое.

На всем — препротивнейшие пятна. В углу раковина и унитаз. Под самым потолком — малюсенькое оконце: только утром я разглядела, что перед ним косо приделан щит, оставлявший только узенькую полоску неба. Но и то было хорошо, как я рассудила позже, потому что в других камерах и этой полосочки не было. Над дверью горела электрическая лампа. И все.

Я так и стояла посреди камеры. Потом откры-

лось окошечко в двери, и мужской голос произнес: «Ложиться!»

Легла. Сон не приходил. Мысли скакали как одержимые, бессвязные, странные. Об экзаменах, о зачетной книжке, об обыске, о лицах девочек, об отце. Вдруг стало интересно, что он испытывал, когда его арестовывали. Вспомнила, что он плакал. Все мысли заканчивались Олегом, его завтрашним утром. И все время очень хотелось плакать. Было трудно дышать. Оказалось, что тихонечко покусывать — лучше, от этого вроде ком в горле не такой твердый.

Было очень обидно.

«За что меня так? Кому я плохое сделала? Из-за папы? Так если правда ему десять лет дали за глупый вопрос, вроде анекдота, так не вдвоем же мы его рассказывали! При чем я? Ведь я с тринадцати лет в комсомоле, сколько всяких общественных нагрузок несла. Была даже секретарем комсомольской организации. И всегда все были довольны. и училась в школе хорошо, и в институте исправилась, почти сплошные пятерки. Так за что? Может, мне в ссылке положено быть, как маме? Но ведь я вполне легально оттуда уехала, не сбежала, да и было-то мне всего тринадцать лет. Я даже на спецучете не состояла. Может, узнали, что у меня в анкетах наврано? Взяли бы и выгнали из института, и дело с концом. Такие случаи бывали. А меня — в одиночку, в Большой дом. За что? Может, за то, что я еврейка? Но я еще не слышала, чтобы только за это сажали... И сослали нас тоже не за это, тогда с нами латышей много было, и русских, и немцев. И в Сибири жили ссыльные литовцы, украинцы, даже китайцы, и все немцы с Поволжья были туда сосланы. Правда, в университет меня из-за этого не приняли, невзирая

на мою медаль... Так может, теперь указ вышел сажать за это? Возможно. Или на меня кто-нибудь донес? Но вроде бы некому, я ни с кем никогда не разговаривала на политические темы, и при мне никто не разговаривал. Даже с Олегом мы никогда ни о чем таком не говорили, он и обо мне-то ничего не знает. Какая дикость, ну почему я ему не сказала хоть немножечко? Ему бы сейчас легче было: не придется думать, что я и в самом деле преступница».

И вдруг в памяти всплыло лицо ссыльного инженера из Ленинграда, приходившего к нам с мамой, вечно голодного, худого, высокого, с обтянутым темным лицом и лихорадочными глазами. И его голос: «С таким же успехом они могли обвинить меня в шпионаже в пользу да хоть парагвайской разведки!»

«Может, и меня обвинят в шпионаже? Может, показалось подозрительно, что я немецкий лучше других знаю? Вот дура, не могла как следует прикинуться... Плохо, видимо, коверкала произношение. А возможно, что и поленилась когда-нибудь. И вот результат. Тут, в Большом доме, только политических держат».

Потом пришел ужас. «Что же теперь со мной будет? Тюрьма или вечная каторга? А как же Олег, и вся жизнь, и институт?» Но постепенно из всего хаоса вперемежку со страхами пробились одна маленькая мыслишка: «Не хнычь, если помочь все равно нельзя». Надо взять себя в руки, сказать: «Нет никакого ужаса. Нет никакого стыда. Пусть стыдятся виноватые. И надо спать, чтобы быть бодрой. И вообще, лучше думать, что все это не со мной случилось. Лучше думать, что это я вижу в кино».

И вдруг от этого «как в кино» стало легче. И даже спать захотелось.

Но тут задребезжал звонок. Я думала уже о чисто бытовых проблемах: как сделать, чтобы юбка не спадала, что придумать с волосами: ведь не могу же я такой русалкой расхаживать! Хорошо бы их отрезать, но нечем. Вдруг в двери образовался светлый кружочек. «Подглядывают! Как им не стыдно! Как же я встану? Ведь это может быть мужчина!»

Господи, как я была в первый день наивна: это был обыкновенный глазок, в который и полагалось подглядывать. И дежурный по коридору выполнял свой долг исправно.

— Встать! Подъем в шесть. За нарушение — карцер. Здесь режим. Умыться, одеться, оправиться. Ни ложиться, ни садиться на кровать до отбоя не разрешается. За нарушение — карцер. Сидеть на стуле справа от двери, лицом к двери. На день стул и стол откинуть от стены, на ночь убрать. Ходить по камере можно, разговаривать нельзя. Отбой в одиннадцать. Встать! Выполнять!

«Вот дурак, не понимает, что мне стыдно вставать, пока он смотрит. Понял, что ли?» Дверца закрылась.

Все сделала, как было велено, только очень боялась, чтоб не подсмотрел, пока я оправляюсь. Но обошлось. Стол и стул нашлись на указанном месте, странно, что я их раньше не заметила. Но какое счастье, что я такая тощая; стул — узенькая металлическая полочка, стол — немногим больше. Села. Ох и холоднющее было железо!

Хотелось спать. Взяла с кровати подушку, положила на нее голову. Но нет, шалишь, милочка:

— Днем спать не разрешается. Подушку, одеяло с кровати брать не разрешается. За нарушение — карцер.

Запомнила, что по камере ходить разрешается.

На том спасибо. Ходила, считала шаги. К окну — то семь, то восемь шагов, да столько же обратно. От кровати — к столу — три шага. По диагонали можно ходить и по периметру. Но все равно надоело быстро. И есть захотелось. И спать.

«Поезд, наверное, уже прибыл. Мама сама не спросит, почему меня нет. Но Олег очень, должно быть, злится. «В такой-то день могла бы проснуться вовремя». А потом пойдет звонить. И что же он ей скажет? Он ведь такой скрытный, а мать еще и член партии: ее сын и «политическая»! Но она очень умная женщина, у нее такие пронизательные глаза: я однажды пожаловалась Олегу, что, когда она смотрит на меня, мне кажется, что она знает даже, о чем я вчера думала, не только сейчас. Он засмеялся и сказал: «Мать моя умница, оттого и молчит больше».

Она будет очень переживать за него. А он-то сам! «Ох ты мой бедный, милый, брошенный!» И такая волна жалости и нежности к Олегу меня окатила, что я вдруг громко заплакала, подвывая, захлебываясь. Но недолго.

Открылся глазок. Успела подумать:

«И это нельзя. За нарушение — карцер. Ну уж нет, плакать перед вами — шиш». Повернулась спиной к двери и давай свистеть. А вот это-то и было нарушением.

— Ни петь, ни свистеть, ни разговаривать. За нарушение — карцер.

«Ох и паразиты, сколько всяких запретов. Кому бы я помешала? И дурачье же — «не разговаривать»! А с кем же мне разговаривать? С собой?»

День тянулся бесконечно медленно. Три раза мне приносили еду, подавали через форточку в двери. Первый раз принесли кусок хлеба, довольно большой. Я съела его с удовольствием. Потом ока-

залось, что это весь дневной рацион. Еще принесли кружку теплой жижи — кофе и в тряпочке — неполную ложку сахара. В обед получила полную миску какой-то мутной жидкости, на поверхности которой плавали рыбные чешуйки. От миски дурно пахло, но я проголодалась и бодро проглотила первую ложку, но увы... меня сразу же стошнило. Пришлось вылить суп в унитаз.

— За неприятие пищи — карцер!

Вот те раз, даже не есть нельзя. И еще пищей, черти, называют. Но когда я в окошечко возвращала миску, приятный мужской голос дружески посоветовал:

— Вы делайте вид, что едите, а как только этот отойдет — выливайте в парашу. Быстренько.

Хотела поблагодарить, но окошечко захлопнулось.

«Ишь ты, даже тут люди есть». На душе стало теплее.

Вечером принесли кружку теплого чаю. Пришлось пить без сахара, свой дневной рацион — неполную чайную ложку — я, как оказалось, уничтожила утром. К чаю принесли полмиски холодной, комьями, каши. Показалось вкусно.

В одиннадцать — отбой. По звонку.

Ох и долго же тянулся этот мой первый тюремный день. Даже не верилось, что без окрика можно растянуться на постели. Мысли еще немного попрыгали. Стали понятными казавшиеся прежде штампом фразы «давит одиночество», «оглушает тишина», «томиться бездельем».

Приказала себе уснуть.

Утром проснулась по звонку. Быстро встала, сделала все, как предписано. Не нарушала.

Счет дням потеряла быстро. Ничем примечательным один день от другого не отличался.

За все мое пребывание в Большом доме мой «покой» нарушался трижды. Однажды вошли двое:

- Есть претензии, пожелания?
- Есть вопросы.
- На вопросы не отвечаем.
- Тогда пожелание: хочу читать и писать.
- Писать — не положено. Читать будете. Все?
- Да.

Через несколько дней мне в окошечко подали толстую книгу. «Малахов курган» писателя Григорьева. Об обороне Севастополя в Крымскую кампанию. Детгиз.

Прочла я ее слишком быстро. Мне, как и про сахар, не сказали, что на чтение тоже есть, видимо, месячный рацион. Я думала, что теперь буду целые дни читать.

Стала перечитывать книгу. Потом наугад открывала страницу и принималась читать оттуда, загадывая знакомые слова и предложения. Потом читала задом наперед. Интереснее не получалось.

Люто возненавидела этот «правдивый» исторический роман. От безделья сама принялась сочинять устно свой исторический роман в том же соцреалистическом духе. Это отвлекало.

«Стройные ряды многочисленных, абсолютно одинаковых в своей монолитности дверей с четко обозначенными на них номерами и аккуратными глазками, благодаря которым не ускользает ни одно движение матерого преступника; «наши доблестные воины», то бишь конвоиры, свято соблюдающие стариннейшие традиции, введенные еще в стенах изумительнейшего произведения русского зодчества — Петропавловской крепости; мягкие, бесшумные дорожки, ковровые, километровые, бес-

конечной лентой покрывающие коридоры и лестницы,— изделия наших славных тружениц, вложивших в них всю свою безмерную любовь к своей могучей матери-родине, твердо стоящей на... этих ковровых дорожках; изящнейшие, прозрачные, но крепкие проволочные сетки лишают возможности любого матерого преступника, врага нашей любимой родины одним жалким прыжком покончить со всеми этими славными традициями...»

Иногда я ловила себя на том, что сочиняла вслух. Так я развлекалась. А больше книг мне так и не принесли: видимо, «Малаховым курганом», вернее — его толщиной, исчерпывался месячный рацион.

В другой раз за мной пришел конвойный с автоматом и, ничего не сказав, повел по ковровым дорожкам, мимо «стройных» бесчисленных дверей, вверх-вниз, вдоль проволочных сеток. Я впереди, он — позади. Иногда нам навстречу шли люди, также попарно. Но по какому-то непонятному мне закону то я, а то и тот, кто шел навстречу, поворачивались по приказу конвоира лицом к стене в будто специально для этого устроенных нишах и стояли так, пока встречающая пара отходила достаточно далеко — так, чтоб ее нельзя было рассмотреть. Пришли мы к фотографу. Он трижды запечатлел мой светлый образ. Анфас пришлось переснимать, так как ему не понравилась моя ухмылка, как он выразился. «Это,— сказал он,— для серьезного дела, и нечего ухмыляться». Тем же путем — «домой». Но рада была путешествию очень. Столько впечатлений! На целый новый «роман».

А в третий раз — совсем занятно. Пришли, точно так же, следуя «правилам тюремного движения», с заходами в ниши, в помещение вроде лаборато-

рии. Там человек в халате помазал мне все десять пальцев на руках чем-то черным и прижал к бумажке в специально отведенное для каждого пальца место.

Я привыкла к распорядку дня. Уже не так хотелось спать днем. Безделье, правда, утомляло больше всего. Но не было первого ужаса. Себя было уже не так остро жалко. Можно было думать, мечтать, даже тихонечко разговаривать с собой или с Олегом. Чаще с Олегом. Главное, не нарушать строгого режима, а то — карцер.

Что-то нехорошее росло во мне. Ну как могла прийти в голову столь нелепая мысль: «А люблю ли я по-настоящему Олега? Если — да, то права ли я, не рассказав ему о себе? Ведь не из-за того же я ему не рассказала, что боялась потерять его! Такой мысли не возникало. Сколько в моем молчании было заботы об Олеге, а сколько недоверия к нему? Или страха? И любовь ли это, если присутствует страх и недоверие? Если лавируешь в жизни, так искренен ли в чувствах?» И злое что-то росло. Это меня пугало: я всегда была девчонкой хоть и вспыльчивой, но жалостливой, дружелюбной, а тут вдруг такая глухая ненависть меня распирала, что самой становилось страшно: как же я дальше с этим жить буду?

Однажды ночью за мной пришли. Дали почти целую буханку хлеба, две тощие, как деревянная линейка, селедки, белые от соляной корки. С трудом затолкали в тесную клетку сразу при входе в большую темную машину. Из нутра машины, из-за закрытой двери, слышались мужские голоса. Моя клетка не хотела закрываться, пришлось поджать ноги, но все равно было мало места. В проходе я успела заметить свой узел и чемодан. Было очень холодно. «Интересно, какое сегодня число? Не

Новый ли год? А может, уже январь?» Я так и не знаю, сколько времени я провела в том заведении, но похоже, что около месяца.

По медленной езде и двум остановкам я сообразила, что мы «прошли шлюз» — двойные тюремные ворота, на сей раз в обратном направлении. Куда?



«Столыпинский вагон», «вагон-зак»... Как же еще называют эту тюрьму на колесах? Вагон снаружи ничем не примечателен. Изнутри — вместо купе — клетки со сплошными трехэтажными нарами, да вместо дверей — решетки с замками. Да еще по узенькому проходу постоянно расхаживает вооруженный конвой.

Судя по доносящемуся со всех сторон гулу, вагон набит до отказа. Только я «следую», как принцесса: в целой клетке нас всего двое — я и какая-то полоумная тетка, которая то смотрела на меня неотрывно тусклым взглядом, то вдруг принималась орать блатные, вперемежку с матерными, песни хриплым, простуженным и страшным голосом, почему-то с примесью то ли литовских, то ли латышских слов.

Как только часовой появляется у нашей клетки, моя соседка лезет из кожи вон:

— Миленький, миленький, зайди, не бойся, не съем, побалуемся.

Тот отворачивает голову, это приводит ее в бешенство. Сыплется семиэтажный мат:

— Ах, падло ты краснопогонное! Усов еще нет,

а от такой бабы рыло воротит. Ух, своими руками придушила бы гаденыша. Поди, и бабы-то еще не нюхал, куда такому говнюку бабу. Только что этап сопровождать научили, на это они горазды.

Часовому приходилось возвращаться опять мимо нашей клетки, и тут он кидал на меня эдакий вроде всепонимающий взгляд.

Соседка взвизгивала:

— Ох, люди добрые, держите меня, лопну со смеху: он еще заглядывается на эту дуру. Да она малохольная, вроде тебя, солдат. Она со страху чокнулась, смотри, смотри, волосья себе отгрызает, веревку давиться готовит. А ты, дешевка, иди жалуйся, пускай скорее выводят полы мыть, хоть одним глазком на настоящих мужиков погляжу, не то что на тебя, шибздика.

За ней и правда по два раза в день приходили, после особо бурных приступов. Заламывали ей руки, выталкивали из клетки и заставляли ледяной водой мыть пол в проходе. Уходя, она хрипела мне:

— Гулятиньки вядуть...

Я куда-то «следую». Третий день в дороге. Холодно, и очень пить хочется. Впервые узнала, что такое жажда. Тех двух соленых рыбинок, что дали в Большом доме, и буханки хлеба должно было хватить на дорогу. А сколько той дороги — не сказали: вот я и сгрызла рыбу за один присест и теперь мучаюсь уже третий день больше от жажды, чем от голода. Пить днем не дают, хоть плачь, хоть вой. Утром приносят ведро с ледяной водой, — напивайся сколько влезет, и это — на весь день. На голодный желудок, да вода ледяная, зубы ломить начинается. Не много выпить удавалось: и так уже замерзала за ночь, а тут еще эта ледяная вода.

То была изощренная пытка. Но кабы только

это... На «оправку» не выпроситься: тоже, как с водой — только утром и вечером, а днем — хоть лопни. Для меня это было хуже жажды, так как, видимо, я простудилась от холода. Вчера в соседней камере кого-то здорово избили: он тоже не мог терпеть до вечера. Я слышала, как он скулил, просил, завывал дурным голосом, кричал, что «они, суки, еще ответят, если он лопнет». А потом использовал собственную галошу вместо параша, за что был сначала зверски избит, а потом его каждые два часа заставляли мыть ледяной водой проход во всем вагоне.

Мне очень холодно. Нары голые, стены вагона в изморози. Но у меня с собой подушка и одеяло, правда тоненькое, байковое. Я весь день сижу завернутая в него, но мороз пробирает даже так. Видно, от голода и неподвижности. Мой чемодан и узел едут со мной. Я даже пробовала вязать, но закончившие пальцы не слушались.

Но дороге я очень рада: куда-то она должна же привести.

В первый день со мной вдруг заговорил часовой: оглянулся воровато, никого из остального конвоя не заметил и спросил:

— За что сидишь, девка?

— Не знаю.

— Так уж и не знаешь. Все вы так говорите. А у самой небось грехов на целую жизнь. Уж скажи прямо, за что?

— Говорю вам, не знаю. Но думаю, что ни за что.

— Не ври. Такого не бывает.

И ушел. А через час примерно снова объявился и сказал:

— Статья у тебя, девка, за побег. Этак годика три ты заработаешь, как пить дать. Молодая ты еще, жалко мне тебя, пропадешь в лагерях. Одногодки мы с тобой, мне тоже девятнадцать. Первый год служу, да сразу вот сюда попал, под красные погоны. На воле со мной и разговаривать бы не стала: не любят девушки нашего брата-краснопогонника. Да и кто нас любит, служба уж у нас такая... Вот выпустят тебя когда, ты вернешься в Ленинград, встретимся, так ведь и «здрасьте» не скажешь!

Долго еще парень изливал душу, благо остальной конвой, видно, пьянствовал, а соседка, выоравшись, так сидя и уснула.

А у меня сердце сжалось от его «годиков этак трех».

— А вы откуда знаете, что «за побег» я? И что за это три года дают?

— А дело вскрыл. В особых случаях нам разрешается. А тут дело особое, все ребята интересовались. Не каждый день таких возим. А что это ты и на еврейку не похожа? А года три огребешь, уж это если по-хорошему. А могут и больше дать. Меньше трех и не бывает.

Как же так: побег? Три года тюрьмы? А что же с жизнью, с любовью, со счастьем? Без солнца, без книг? Почему же «побег»? Я ведь ниоткуда не бежала, я вполне легально уехала, так почему же сейчас это стало побегом? Просто после седьмого класса я однажды, решившись, сказала маме:

— Все, мам, отпусти, или повешусь. Не могу больше здесь жить. Я здесь сдохнуть не хочу. Отпусти по-хорошему.

Мама знала, что меня лучше отпустить по-хорошему... А теперь это «побег»?

Не очень весело. Но кое-чему я уже научилась: нельзя распускаться. Самую малую капельку начнешь себя жалеть — глядишь, уже капают слезы, терзаешься от обиды, от беспросветности, жить не хочется, и мысли всякие...

Потом оказалось, что парень правду говорил насчет статьи за «побег». Но мне объяснили, что вписана она была из гуманных соображений (не красавец ли питерский постарался?): чтоб числилась я подследственной, это ускоряет доставку к месту назначения.

На третью ночь высадили мою сумасшедшую соседку, а на четвертый день мы куда-то прибыли. Наш вагон покатали, отцепили и оставили.

Слышались голоса. Потом вывели мужчин. Это тоже заняло много времени, а потом повели меня, с узлом и чемоданом. Вот она, оказывается, какая «черная Маруся», «черный ворон». Мрачная, черная машина, нутро которой ругалось, материлось, выло и пело: туда загнали мужчин. А меня опять в закуточек у двери. Но на этот раз я была такая окоченевшая, что даже поджать ноги не смогла, и конвой мне оставил дверцу приоткрытой: не отрубать же мне ноги... Поехали. И мне кое-что сквозь окошечко в задней двери машины было видно. И как же больно защемило сердце, когда я узнала эти места, Олеговы родные места! Полгода назад он меня встречал на этой же станции, и ехали мы автобусом, и заночевать пришлось, так как последний автобус ушел из-под носа. И счастья-то сколько было! Соловьев слушали. Хозяйка свою кровать уступила. И я еще утром ее стеснялась, будто она знала, что мы не муж и жена...

Пересылка была старая, деревянная. Я вывалилась из машины, ноги в ботах не гнулись, я их не чувствовала. Пока проверяли да без конца пере-

считывали — меня посадили на мой же узел, где я и оттерла ноги. Прибыло несколько этапов. Женщин повели в «санпропускник» — баню, значит. То была всем баням баня: крошечный предбанничек со стенами, покрытыми пышным слоем инея, с тоненьким ледком на полу. Голые скелетоподобные, дрожащие женщины сдают одежду (она идет в «вошебойку») и проходят в «баню». У входа каждой при пересчете дают кусочек хозяйственного мыла величиной со школьную резинку. С потолка из труб каплет едва теплая водичка. Холод почти такой же, как в предбаннике. Просим пустить воду — говорят, нет напора, а ловить капли — очень холодно и неудобно. И к тому же велят мыть голову. Я дома-то с трудом справлялась со своими косами, а уж тут... В общем, на голове у меня образовалась настоящая кошма, но после бани насморка не было. Зато я стала уродом, усердно обгрызала свои косы, что потом вызвало среди моих товарок по камерам много смеху, ибо «линия среза» была не очень ровной...

В камере, куда меня привели из «бани», сидели, лежали, ходили. Женщин пятнадцать всего. Двухэтажные нары вдоль трех стен, у двери — параша, крохотное замерзшее окошечко под потолком. Я ошарашенно стояла у двери.

— Чего столбом стоишь? Людей не видела? — раздался приятный женский голос откуда-то сверху. — Давай устраивайся, не в театр пришла... Девочки, да она немая! Или столбняк хватил?

Шутила молодая миловидная женщина. Она расчистила около себя, на «втором этаже», место на нарах и гостеприимным жестом пригласила в свою «светлицу».

Ее звали Женя. Около нее я оттаяла. Мне дали горячего чаю с сахаром, Женя помазала мне тол-

стый кусок хлеба топленным маслом. Я любила весь мир и смотрела на Женю влюбленными глазами.

Она была хорошей учительницей. Стаж у нее был солидный: семь лет — позади, восемь — впереди. «А там,— сказала Женя,— все равно подбавят». Всего-то ей двадцать шесть лет от роду. Возили ее из казахстанского лагеря в Ленинград по чьему-то делу. «А куда сейчас везут — один Бог знает. Может, в Казахстан, а может, на Колыму». Но ей в общем-то на все наплевать. Так и так жизнь пропавшая.

Я верила каждому Жениному слову. Она рассказывала. Каждая история — чья-то изуродованная жизнь, чьи-то зачеркнутые годы, чье-то горе. Историям, казалось, не будет конца. Я чувствовала, что все правда. Но ужас в том, что еще месяц-два назад я бы этому не поверила. Я бы, может быть, не стала даже слушать. Показалось бы нелепым, чудовищным. Ложью. А то как же? А где же справедливость? Но я тут же отмахивалась от таких мыслей: «Не ври. Знала, что нет справедливости. Просто так удобнее было — не думать. Твой же отец десять лет за что отсидел?!» Оказывается, чтобы поверить, надо самой пройти через это. Но еще важнее — понять. А поняв — уже нельзя молчать. Как Женя.

Женя рассказывала. О родных, о знакомых, о чужих. Она со многими сидела. Я лежала рядом с ней на нарах и в ужасе шептала:

— Женечка, как же это? Как же так, что невинные, совсем невинные, даже наоборот, слишком честные вот так страдают, гибнут? Ведь ни за что, ну совсем ни за что. Как же это? Что же это будет?

— Произвол. Страшный произвол. Кому-то это удобно, и он от этого удобства не откажется. Иначе — самому крышка. Остановись эта машина, люди

знать не будут — что дальше. Каждый свою шкуру спасать начнет. Вот и молчат. Терпят. Авось минует.

— А ты когда поняла?

— Дура я была тоже, вроде тебя. Тут, в лагере, поумнела. Справедливость...

— Что же будет? Жить-то очень хочется...

— В том и ужас, что конца не видно. Да ты не отчаивайся. Тебя-то, может, еще выпустят. Это мне, видно, судьба по лагерям мыкаться, и то я еще на что-то надеюсь.

В Жениной судьбе самым трагическим, на мой взгляд, было рождение ребенка. Ее арестовали беременную, и через несколько месяцев она родила в тюрьме девочку. Ребенка своего она видела всего несколько минут после родов и с тех пор ничего о нем не знает. Мужа тоже арестовали, за несколько дней до нее. Их обоих обвинили в подрывной деятельности в пользу иностранной разведки. У Жени была тяжелая беременность. Этим она объясняет, что не долго сопротивлялась: через несколько дней она подписала обвинение против себя. И ей дали всего пятнадцать лет. А муж не такой, нет. Тот, конечно, давно расстрелян. Тот не стал бы подписывать напраслину. И вот Женя сидит уже семь лет; была в Казахстане, и в Сибири, и на Севере, а уж этапов и пересылок сколько перевидала — не перечить. Эта вот — самая приятная, потому что в селе, не в большом городе.

— Конца не видно, — говорит Женя и потому «ходит под нары». Так ЭТО называется. Я знаю, что в стене под нижними нарами есть довольно большая дыра: рука проходит в соседнюю мужскую камеру. Ее заботливо скрывают от начальства. По шуму судя, камера рядом огромная. «Под нары» ходили только молодые женщины нашей камеры и по строго соблюдаемой очереди. Что там

происходило — не знаю: спрашивать было неудобно, но когда очередная женщина появлялась из-под нар, даже такие выдавшие виды, как Женя, отводили глаза. И стояла тишина.

В одну из ночей была Женина очередь. После ее ухода я уснула, но проснулась от всхлипываний. Нары тряслись от сдерживаемого плача. Я потрогала Женю за плечо, она отбросила мою руку. А после моего вопроса о том, что случилось, с ней вдруг началась настоящая истерика. Она кричала, каталась по нарам, рвала на себе одежду и волосы, страшно как-то выгибалась, ругалась страшнейшими словами. Сыпались проклятья. Около нас собрались все женщины, старухи качали головами. Женю утешали, пугали карцером — за шум ночью. Понемногу Женя утихла, только среди всхлипов и сморканья слышалось горестно-изумленное: «Сволочи, какие сволочи!» К кому это относилось — не знаю, то ли к мужикам в соседней камере, то ли к тем, кто в этом повинен. Я утешала Женю как могла. И странно, несмотря на разницу в возрасте, на опыт Жени и на многое, весьма в нас разное, она внимательно прислушивалась к тому, что я ей говорила. И устало кивала головой. А я вдохновилась. И откуда слова взялись? И мысли явились, которых никогда прежде не бывало, будто стихийно возникли. Я горячим шепотом убеждала ее не тратить здоровье, оно, мол, еще понадобится дочке, а может, и мужу. И что гордость терять не надо (тут она криво ухмыльнулась), и что придет конец этому кошмару, не может такое длиться вечно, пусть Женя только припомнит случаи из истории. Надо верить. Если потеряешь веру, то всему конец. Надо быть мужественной, нельзя распускаться. Она молодая, красивая, даже через восемь лет у нее еще будет

жизнь впереди, так зачем же себя так мучить! Не надо ходить «под нары», а потом проклинать весь свет.

— Глупая, ты еще ребенок, но спасибо. Прошло уже, спи.

Дни потянулись однообразные. Утром — развлечение в коридоре: по дороге на «оправку» женщины с криками кидались к окошку в двери мужской камеры, и каждая что-то орала. Конвоиры незлобно поругивали их, даже руки прикладывали, но тем было все равно. С трудом загоняли в уборную. Потом в умывалке находили и оставляли какие-то таинственные слова и знаки на тоненько рассыпаемом зубном порошке и записки в самых неожиданных местах. На обратном пути — те же скачки у мужской камеры, затем — кружка теплой воды с куском хлеба, вынос параши по очереди, и весь остальной день сплошное ничегонеделание. В обед — миска отвратительного, совершенно тошнотворного супа и вечером — кружка чая. Я очень уставала от голода, особенно страдала по вечерам, но сама была виновата: весь дневной паек хлеба съедала утром.

Так прошло дней десять. Однажды рано утром нас вызвали на этап: из всей камеры только Женю и меня. Ох, как я была счастлива, что еще не расстаюсь с ней!

Ждали долго. Считали нас, пересчитывали, уводили кого-то, приводили кого-то. Не было машин, потом не хватало конвойных. Были тут и мужчины, отдельно от нас, но в том же караульном помещении. И, глядя на Женю, я подумала, что зря трудилась над ее нравственностью: она стала неестественной, крутила глазами, делала какие-то странные телодвижения и все старалась привлечь к

себе внимание мужчин, а те ржали, как жеребцы, и мне было очень за нее обидно.

Мне же очень славно улыбнулся издали высокий красивый парень, странно не гармонировавший с толпой оборванцев, среди которых стоял: на нем были белые бурки, пушистая меховая шапка и очень приличное зимнее пальто. Когда нас отправляли, он еще раз улыбнулся мне и помахал шапкой. Было приятно.

Тем же длинным путем привезли на станцию. «Столыпин» был заперт, а мороз стоял крепкий. Вдруг в толпе заключенных какой-то парень упал на грязный лед, задергался, забился, глаза закатились, изо рта показалась пена. На нем даже пальто не было, только драный пиджачишко. Он хрипел, изгибался, бился головой об лед. Дружки держали его. Конвой забегал. Нашелся ключ. Первым, когда открыли вагон, бросился «припадочный», за что заработал от конвоя удар ногой под зад. Вот чудеса-то, а я была уверена, что это эпилепсия. В вагоне было все же теплее.

И опять дорога... Длиннее первой, целую неделю ехали. Но больше стояли в тупиках. Было тесно; видимо, в том городе были еще пересылки, ибо в купе нас было больше десяти. Зато — тепло. И Женя рядом со мной. Опять нам дали в дорогу ту же самую селедку-деревяшку, но у меня был опытный учитель: Женя выменяла мне селедку на солидный кусок хлеба, и пить уже не так хотелось.

Конвой на этот раз попался свирепее. Никто не заговаривал, только окрики слышались. Женщин не били. Но в соседних купе, у мужчин, каждые два часа раздавался крик: «Шмон!» — это шел обыск. И удары сыпались направо и налево, стоял стон и мат.

Мы о многом переговорили с Женей, и мне было странно впервые в жизни говорить о вещах, которых все всегда тщательно избегали, — о тюрьмах, о расстрелах, об идиотских обвинениях в немыслимых преступлениях, о жизни вообще, говорить без утайки. Но иногда я Жене наскучивала. Она вдруг на моих глазах преображалась в фурию: материлась, оскорбляла ту, с которой схватывалась из-за пустяка, лезла в драку. Только угрозы конвоя приводили ее в чувство. Она возвращалась ко мне, еще дрожа от возбуждения, вроде успокоенная, и криво усмехалась:

— Отвела душу. Очень уж ты, рыбонька, наивная. Душа переворачивается, на тебя глядя. Я точно такая была семь лет назад — чистая, добрая. А сейчас — стерва, как и все. Дай тебе Бог выбраться отсюда поскорее. И не смотри на меня так жалобно: злоба меня гложет, оттого я и набрасываюсь на этих дур. А они — сволочи. Это ведь бытовки. Места им не нашлось, вот к нам и подсадили, к политическим. А случись наоборот, было бы их больше — поиздевались бы эти суки над нами всласть: мы ведь «враги» даже для этих шлюх. Тебя-то уж точно они раздели бы догола, а ты вот, слава Богу, еще как принцесса разряженная. Даже чулки еще не очень рваные. Правда, если оставаться тебе в тюрьме, так лучше бы твою одежду выменять на что-нибудь потеплее, но я думаю, что тебя выпустят. Привезут, может, посидишь для острастки, да и выпустят.

И снова тюрьма — пересылка. На этот раз современная, кирпичная. И — стыд. Стыд до головокружения, до желания умереть тут же. Это называлось «медосмотр». Одна «сестра» и два мужика, ко-

торые даже не потрудились натянуть халаты... Знайки в приемной, где раздевались — на одной стороне женщины, на другой мужчины,— пояснили: «Дурные болезни ищут». Это была очень унижительная процедура, и если дано мне выжить в этом проклятом мире, ее-то я до конца дней не забуду.

Около двух недель пробыла здесь. В камере было битком набито — человек тридцать. Все политические. Жены крупных партийных работников, актрисы, много иностранок. Высокая, полная, властная женщина, еврейка, признанная старостиха камеры, сидела уже почти двенадцать лет. Ее арестовали вместе с мужем за несколько дней до войны. Мужа расстреляли, ей дали двадцать пять лет. За шпионаж в пользу немцев. Жены изменников родины. Одна была даже жена генерала-изменника, бывшая балерина. Она и сейчас ходила по камере немного развернув ноги, а лицом была похожа на усыхающую камею.

Хуже всех, пожалуй, приходилось иностранкам: без общего языка, да и, видимо, жилось им прежде все-таки лучше, чем нам. Не то чтобы вид у них был избалованный, нет, но все-то им было невдомек, и лица вопрошающие: почему? за что? как же так?

Был и курьез. Две молодые немки, арестованные за связь с Западным Берлином (у каждой там было по дружку), ходили каждую ночь стирать охране белье; утром они возвращались в камеру с хлебом, папиросами, иногда приносили конфеты и маргарин. И рассказывали друг другу по-немецки — как? со сколькими? — и разные подробности. Я лежала на нарах рядом с ними и никак не могла собраться с духом и сказать им, что я понимаю их болтовню: это надо было сделать сразу. И сколько смеху было в камере, когда какая-то пожилая

тетка вдруг заявила, что «чевой-то все енти да енти», она, мол, тоже пойдет стирать. Бедняга не понимала. Молодые женщины визжали от смеха, пожилые посмеивались, а когда до тетки вдруг дошел истинный смысл ночных «стирок», она в сердцах плюнула и, сердито глядя на немок, сказала: «Тьфу, фриц он фриц и есть».

Еще раз повезло: вызвали и на новый этап с Женей. Холод, голод, жажда, побои в соседних камерах, дикая ругань, ночные шмоны. Изнурял постоянный голод. Начала кружиться голова. Ходить становилось труднее. Женя говорила, что я «сдаю на глазах», что скелет и тот жирнее и уж наверняка краше. К тому времени я почти окончательно отгрызла косы, и надо думать, Женя была права: красотой я совсем не блистала...

До очередной пересылки нас сопровождал конвой с собаками; это было мое первое знакомство с этим славным эскортом. Впереди несколько женщин, за ними — колонна оборванцев-мужиков с котомками, деревянными ящичками и чемоданами, вокруг всего этого сборища — конвой с автоматами и спокойно вышагивающими красавицами овчарками.

Это была уже третья пересылка; я вроде даже привыкать начала и к вечному холоду, и к сосущему голоду, и вообще к обстановке. О себе думала все реже. Часто грустила об Олеге, но как-то не о нас, а больше с тоской силилась представить себе его будущую жизнь — без меня. Не было тут ревности или сожаления об утраченном «удачливом» муже, нет, я жалела, что он никогда не узнает ни о чем по-настоящему, так, как я теперь это познаю. Не то чтобы мне хотелось, чтобы и он через

это прошел, нет, но я уже сейчас знала, что если мы и встретимся — скоро ли, через много ли лет, — между нами опять встанет та же стена, которую я, для Олега же благополучия, сознательно не стану разрушать. И, поняв то новое, что в меня входило, я скорей всего уже не смогу жить за стеной. И от этого было очень грустно, будто не жизнь меня предала, а я — Олега.

Грустно было расставаться с Женей. Меня опять вызвали на этап, а она осталась. Слезы лить было некогда. После выкрика «На выход!» мешкать нельзя: хватай вещички и беги. Женя дала мне почтовый номер своего последнего лагеря и попросила, если меня выпустят, написать ей и прислать бумаги и конвертов. Всхлипнули, расцеловались. Послала бумагу ей сразу, как только смогла, но вряд ли она ее получит, — в таких случаях, как объяснила Женя, редко возвращают в прежний лагерь: зачем давать обживаться?..

Снова стучат колеса. В клетке очень тесно. Вообще весь вагон битком набит. У мужчин даже сидеть негде. Там ругаются и дерутся. Женщины тоже уже царапались и кусались, конвой разнимал. Меня одна злобная девица обругала последними словами, грозила придушить «буржуйку-студентку» за то, что мой чемодан и узел занимали много места в купе. С чего она так метко меня определила? Ведь не на лбу у меня написано, что я студентка? А я слова никому не сказала, тут не до знакомств и разговоров, от тесноты вот-вот зубами грызть друг дружку начнут. Да и политических всего несколько человек. Сплошные уголовники. На третьи сутки уголовниц ссадили. В клетке осталось нас всего двое: кроткая тихая бабка и я. Сразу стало холодно,

а до этого даже со стен текло и дышать было нечем от всех этих распаренных злобных тел. Теперь казалось, что отсыревшая одежда смерзается на теле.

Бабка была очень славная. Сказала, что сидит «за религию». Горестно качала головой, узнав, сколько мне лет, сказала, что будет молиться, чтоб не загубили еще одну невинную душу. Мы жались друг к дружке под моим тоненьким байковым одеяльцем и мечтали о горячем чае.

На следующей пересылке я пробыла всего дня четыре, «жила» у самой параши, боялась шелохнуться. Я точно не поняла, кто терроризировал камеру. «Террористок» было всего пять, а в камере около сорока женщин, но тех боялись все. Такой бешеной злобы я в своей жизни еще не видела; по сравнению с этими фуриями те бедняги, что дрались в вагоне из-за тесноты, вспоминались ягнятами. Моя тихая бабка «за религию» пыталась было усовестить этих мегер:

— Девоньки, утишьтеесь, такая наша жизнь тяжелая, зачем же ее утяжелять?

— А ты кто такая, чтоб мне указывать? — подступила к ней красивая девка из «террористок».

— А я не указываю. Я для тебя же, доченька, стараюсь. Зачем же так браниться? Срам слушать. И людей невинных в страхе держать грех, никто вам дурного не сделал, вы и злобитесь-то понапрасну, только свои души злобой губите. Ты вот не знаешь, сколь легче доброму. От злобы люди слепнут, глохнут, слов простых не понимают. Ты попробуй, девонька, и товаркам своим скажи.

— А чего это пробовать? Я уже все испробовала, по всем правилам диалектического мате-

риализма. И я такая же неземная была, а не посмотрели, растоптали «цветочек невинный», — злобно оскалившись, прогундосила красотка, а я так и вскинулась от четко произнесенного «диалектического материализма» и гнусавого «цветочка невинного».

— Перетерпи, девонька, нельзя на всех злобу держать...

— Чего терпеть! Натерпелась. Такого натерпелась, что тебе, бабка Христовая, и не снилось: всяк сволочь всласть поиздевался, пока невинной была. А вот такую-то не каждый решится пригвоздить: я и сдачи дам. Дура ты, бабка, так легче жить, а не по-твоему. И не крути мне про грех, для меня теперь нет грехов, я и тебе по морде могу смазать.

— Моралистка, святоша, дай, дай ей, Ленка, чего она тут мораль разводит. Мы поученей, да не тужим, живем, как можем, и нечего рассусоливать. Не учите нас жить, бабка, получите свое в морду, чтоб не травили сердце невинным девушкам.

Не очень сильно, но звучно и нагло врезала Ленка бабке по уху. У бабки потекли слезы. Все молчали. Ленка бросила свою папироску в парашу, встретила со мной взглядом, повернулась еще раз к бабке, полезла на нары к своим. Те одобрительно посмеивались, похлопывали Ленку, дали ей еще одну папироску.

Я боялась смотреть в ее сторону. Я чувствовала, что ей не по себе. Мне очень хотелось узнать про эту Ленку; да и вся лихая пятерка не выглядела «уголовно», как же они дошли до жизни такой? Но я не отважилась ни приблизиться к ним, ни смотреть в их сторону.

Ночью я проснулась оттого, что голова моя съезжала с узла, который служил мне подушкой.

Над собой я разглядела «террористку» из «могучей пятерки»— она аккуратно тащила из моего узла, из-под моей же головы, мой собственный платок. От удивления я приподнялась. Она провела рукой по своему горлу, вроде отрезает голову, поворачивала глазами, второй рукой успела уже весь платок вытащить и спокойноенько уползла к себе, на второй этаж. На следующий день она повязалась моим платком, мною совершенно не интересуясь. Я же только смотрела и удивлялась.

Сюрприз



Даже в таких местах бывают сюрпризы. Приятные. Я до того уже насмотрелась, наслушалась, наунижалась и страху натерпелась, что сразу и не поняла, в чем дело, когда солдат из конвоя, воровато оглядываясь по сторонам, стал вдруг ни с того ни с сего отмыкать мою клетку, и — бац — на колени ко мне упал сверточек.

Чудеса! Я опять одна в купе, уже второй день. Сижу тихо-тихо, кажется, что и кровь течет, вернее, перемещается по жилам еле-еле, сил уже с утра нет, даже пить не хочется, и голод стал привычным и не так уж сильно мучает. Главное, силы иссякают, да и тоскливо очень, уж лучше с сумасшедшими, лучше с блатными, они хоть живые...

Я в дороге уже больше месяца. Проехали Новосибирск. В тамошней пересылке недолго держали. Если везут меня на место прежней ссылки — так уж недолго ждать, еще одна остановка, видимо Красноярск, а там уж и дом родной. От этой мысли и радостно и страшно: а вдруг не выпустят?

Монотонно стучат колеса, мерно вышагивает

часовой по узкому проходу. Дойдет до моей клетки (она последняя в вагоне) и обратно, и так весь день.

Но сменился дежурный, внес беспокойство: не монотонно ходит, а вроде суетливо, опасливо. Дойдет до моей клетки, покосится подозрительно. Я испугалась, уж не замышляет ли что дурное, тут кричи не кричи — на помощь никто не придет.

Но когда он, воровато оглядевшись, кинул мне сверточек да я его развернула,— а тут еще на колени полетел огрызок карандаша,— ну, чудеса, да и только. В свертке были конфеты. Уж не умом ли я тронулась? **КОНФЕТЫ**. И карандаш настоящий. А конфет штук десять: изумительные, шоколадные, а может, соевые. Я съела их тут же. И завернуты они были в записку с подписью — Владимир Вознесенский. Понятия не имею, кто он, но все равно — молодец, какой пир мне устроил. Взясась изучать записку.

Кто же ты, Владимир с такой небесной фамилией? И откуда известно тебе мое имя? И как ты ухитрился здесь отыскать меня и таким царским подарком одарить? И какой же ты, стало быть, важный, если даже карандаш у тебя есть. Спасибо тебе, милый, золотой человек, до чего хорошо жить на свете. И конечно же я на все твои вопросы отвечу и твоими советами займусь:

1. «Не вешать носа...» А я и не вешаю.

2 «Ничего не бояться...» А что делать, если страшно?!

3. «Немедленно сообщить адрес, где, возможно, окажусь после этапов...» Ладно, подумаем.

Карандаша было сантиметра полтора, но и это — сокровище. На обороте его записки я нацарапала: «Если Вы не ангел, то кто Вы? Никогда ничего

вкуснее не ела. Спасибо. Адреса у меня нет, еду в заключение. Шлю адрес мамы, она уж будет знать, где я. Спасибо Вам, спасибо. Жить стало лучше, жить стало веселей!»

Только доцарапала записку — отворилась клетка, и конвойный прошипел: «Давай!» Я отдала записку, он потребовал и карандаш (а я только раздумывала о том, как бы его спрятать). Да еще вдобавок буркнул: «Ответа не жди, не желаю из-за ваших шашней на ваше место угодить».

— Гражданин начальник, а кто это послал? — это я, окончательно обнаглев.

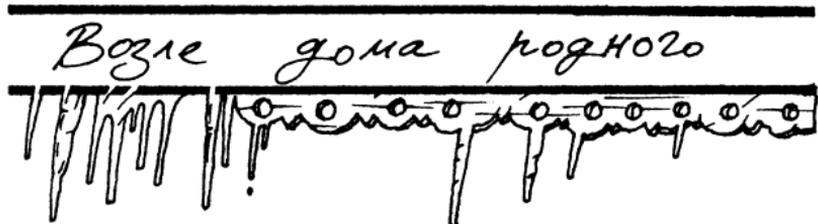
— Как кто? Будто не знаешь! Да твой же красавец писанный, второй день покою не дает: узнай да узнай ему имя. А уж имя-то у тебя мудреное, списать пришлось.

Но, взглянув на меня, поверил, что я и в самом деле не знаю, кто же тот благодетель.

— Да высокий-то, в белых бурках, шапка на ем еще мохнатая, да и весь гладкий, не обтрепанный. Ну?

Ну конечно узнала: махал мне шапкой на прощанье. И правда, за всю дорогу единственный не обтрепанный. А «следует» среди уголовников... Что ж ты такое сотворил, Володя? Убил, ограбил, изнасиловал? Что-то сотворил, этих так просто не сажают. Но не все ли равно мне? Зато сколько тепла принес, сколько добра! Все показалось лучше, даже вроде сил прибавилось...

Я думала о нем целый день и представляла себе, как меня выпустят, как я узнаю его адрес и отправлю ему вкуснейшую посылку, чтоб и у него такой праздник был от доброты человеческой.



Поезд наш еле ползет. Сначала долго стояли где-то на путях. Потом цепляли к составу, катали наш вагон взад-вперед, а видно, не к скорому прицепили, очень медленно движемся. Если повезут меня больше суток, значит — мимо, значит — не видать мне дома родного, значит — в заключение. Помню, пять с половиной лет назад я от нашей станции Канск до самого Красноярска лежала за пыльными матрасами на третьей полке, замирая от страха, что контроль обнаружит меня — «зайца». Тогда это заняло часов восемь.

А сейчас от волнения, что ли, мне кажется, что мы уже едем целую вечность, хотя поезд больше стоит. Но день один прошел.

За окном ночь.

Я одна в купе. Мужиков — набито до отказа. Я слышу, как у них происходит «смена дежурств»: кто стоял — ложится, кто спал — встает; у них даже сидячих мест для всех не хватает. Их все так же бьют; там ругань, драки, и уже за эту ночь было два шмона. Я все слышу, но как в тумане, слабость во всем теле, перед глазами круги.

Опять остановка. Около нашего вагона какая-то

возня, хрипы, приглушенные голоса. И вдруг разборчиво — рык. Я так и вскинулась. «А! Собачки!» Значит — у вагона конвой, значит — кого-то сейчас выведут, значит — тут есть пересылка. Узнать бы, какой это город. «Хоть бы меня... Что же я сижу? Надо стучать, просить!» Но я в последнее время вдруг так устала, что на пересылках была довольна, когда находилось местечко приткнуться полежать, пусть даже у самой параша. И воняло, и клопы донимали, и духота в камере, но кругом живые люди, тепло да два раза в день теплый чай...

Хлопают двери, суета, и наконец: «Собирайсь!»

Хорошо! Собрать нечего, убирать тоже нечего, голые нары.

Выхожу я всегда или первой, или последней, ибо, как объяснили, с мужиками «не положено бабе, всякое учинить могут». И по уставу не положено. У вагона уже толпа оборванцев-мужиков, человек сорок, конвой с собаками. «Ох и мороз, градусов сорок, наверное, февраль, поди; какое же число?»

— Строиться! Баба вперед! Мужики — по четыре в ряд! Живо, не разговаривать!

Баба — это я. Уже привычно. А быстро и так все шевелятся, на таком морозе не застоишься, да и собачки...

Наш вагон всегда в тупик загоняли. И на этот раз нас повели из тупика. Это, видно, чтоб заключенные не знали, куда их привезли, да и чтоб народ всякий на станции не увидел, сколько их поразвелось, этих зеков.

Пошагали в колонне морозной ночью по темному, без огонька, городу.

Шествие гномов! Впереди — конвоир с собакой, за ним — я. По бокам — по конвоиру с собакой. Позади — по четыре в ряд — мужики, вокруг них — еще несколько конвоиров с автоматами и

собаками. У каждого — по фонарю, на каждом — теплый полушубок, шапка меховая, валенки, рукавицы. Я же своих ног через несколько минут не чувствую, будто примерзли к тоненьким ботинкам на каблуках. Да и пальцецо мое хоть и «с волнующимся задом», но явно не для сибирских морозов. На голове — косыночка шелковая. Измученная, голодная, ноги заплетаются, нет сил тащить чемодан и узел. Качнулась. Собака покосилась, но и конвоир, видимо, понял, что не дойти мне. Велел мужикам взять узел и чемодан. Те ругались, но взяли. Стало легче.

Шли мы уже порядком. Я силилась хоть название улиц прочитать, но из-за мороза да темноты в нескольких шагах ничего было не разглядеть. И все равно что-то тревожное вдруг родилось внутри, даже сердце заколотилось. Конечно же, по этой улице мы с мамой несколько лет назад такой же морозной ночью, замирая от страха, бежали на вокзал встречать едущего с Дальнего Востока двоюродного брата.

О Господи! Я вспомнила, что в местную тюрьму дорога вела мимо дома, где мы жили. Много раз я видела колонны арестантов на нашей улице. И никогда мысли не приходило, что и я могу так шагать. «Странно, что не приходило!» — мелькнуло.

Откуда силы у человека берутся? Только что качалась, упасть боялась, а вот вроде крылья выросли, даже красавицы овчарки умным глазом покосились: уж не бежать ли баба собирается?

Мы шли точно к нашей улице. Еще два поворота, и — второй от угла — дом, где мама живет. Спит себе моя мамуля, сны видит, не знает, что ее «сокровище» рядышком в строю шагает. Хорошо, что не видит, рехнулась бы, увидев...

А в голове мысли одна бредовее другой: постучать в окно! Через забор прыгнуть и в сарай спрятаться! Вдруг закрыт? Нельзя. Заорать громко, так ведь ставни закрыты, не услышит. Но ведь что-то надо сделать обязательно, надо как-то дать ей знак, вдруг мы никогда больше не увидимся?!

Не только собаки, конвой стал на меня поглядывать: почувствовали неладное. Вот и улица. Я и дом вижу, всего несколько шагов. Господи! Что делать? Я, кажется, теряла сознание. А тут вдруг, прямо против дома, окрик: «Стой!» Остановились. Я боялась поверить: неужели меня отпускают домой?

Нет. Не потому.

— Мужики — оправиться. Баба — два шага вперед, не оглядываться.

Понятно, не первый раз. Горько-горько подумала, что хоть и баба, а тоже человек, живой еще, и не мешало бы хоть раз и обо мне подумать и сказать: «Мужики, не оглядываться». Сказать, попросить — стеснялась: засмеют. Оттого, видно, и боли в пояснице: рези вдруг такие, что темнеет в глазах.

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — пытаюсь я перекричать журчание за спиной. — Позвольте на минуту в этот дом зайти, мама моя тут живет. Или хоть в окно постучать!

— В карцере настучишься! — незлобно буркнул гражданин начальник.

До чего же я дура! К кому обращаюсь? Но это — от отчаяния. Очень уж страшно, что увезут, а мама и знать не будет, как близко я была.

Пошагали.

В дом родной меня не пустили, но насчет карцера гражданин начальник не шутил: часа через два я в нем и очутилась.

Карцер



Пришли. Часа, наверное, в четыре или пять утра. Ох и катавасия же началась: из-за меня ругались конвой и дежурный. Тюрьма уголовная, этап пришел уголовный, и — ни к селу ни к городу — я, политическая. Девать меня некуда. Потеха. Камер для политических в тюрьме нет. Сажать меня к уголовникам — по уставу не положено, еще испорчу их, не приведи Господи. Слышу, как дежурный шипит на начальника конвоя:

— Сдурел ты, что ли? Не видал, кого берешь? Не наша, так нечего и возиться.

— Да не было от них никого, куда деваться было? Ссадили, не везти же дальше. Не обобратся бы потом.

— Не твое дело. Ихняя — пусть принимают. И пушай бы увезли; разобрались бы и без тебя. А куда я ее теперь девать должен? За свой стол сажать? У меня для ихних местов не припасено. Вот ты взял, ты и сопровождай.

— Брось, куда я ее дену? Да и ночь, нет там никого.

— Всю ночь они работают, не ври, да и дежурный всегда есть.

Но выход нашелся: карцер у них пустовал; тюрьма-то уголовная, зачем же голубых кровей бандитов да убийц в такое страшное место сажать.

Открылась тяжелая металлическая дверь; с узлом и чемоданом я ступила в непроглядную темь. Полный мрак, холод, ледяная сырость, подвалом пахнет, вонь. И слякоть под ногами, что-то скользкое и липкое. Но руки устали держать чемодан и узел, а как положить их в эту грязь? Шагнула, мелко-мелко ступила несколько раз и уперлась узлом в стенку: скользкая, ледяная. Тут и бросила свои тяжести. Развела руки — уперлись в липкие ледяные стенки. Склеп. И с потолка что-то размеренно капало.

А может, это тишина стучит, может, я с ума схожу? Припомнила китайскую пытку: сажают преступника под размеренно капающую ему на голову воду, и он в конце концов сходит с ума от кажущегося грохота капель. Стало страшно, по-настоящему страшно. А что, если я со страху рехнусь? И буду кричать, уже сумасшедшая, и никто не услышит? Или упаду в эту грязь?

Я еще силилась успокоить себя тем, что не навечно же меня в карцер засадили, да и кормить будут, так найдут, если даже и упаду. И может быть, все и обошлось бы, но вдруг раздался писк. Крысы! Я вскочила. Мне казалось, что они не так быстро доберутся до горла, если я буду стоять. Замелькали в глазах обглоданные скелеты, темнота карцера превратилась в мелькающий калейдоскоп черепов, огромных кошкоподобных крыс, целые полчища их, белых, жирных. Они брали приступом какие-то замки. А жижа под ногами ширилась и прибывала. Вот она уже до колен, и скоро я захлебнусь. Крысы плавают по поверх-

ности грязи, им даже легче так к горлу подобраться. Жутко мне. Нет больше разумных доводов, нет мне спасения. Но я за что-то цепляюсь. Ах, кто же автор картины «Княжна Тараканова»? Кто-то на «Ф» или на «Ц». Там ведь тоже вода и, кажется, крысы. Не все ли равно, княжна ведь умирает. А может, ее спасут? Вот так всегда, ах, дура необразованная, как же ты не знаешь, может быть, ее все же спасли? Не спасли, не спасли, и тебя не спасут, и...

Диким, страшным голосом я закричала. Начало крика я еще слышала, потом поскользнулась, удержалась, нашла дверь, стала биться об нее.

Снова услышала свой крик, когда ключ заскрежетал в замке, и первая сознательная мысль была: «А ведь за такое избыют». Но, Господи, пусть бьют, лишь бы люди, не крысы и жуткий мрак.

Дверь открыл все тот же ночной дежурный; посмотрел, не стал бить, даже матом не покрыл, а спокойно так сказал:

— Ну что, девка, стучишь? Что добрым людям спать мешаешь?

Я б у него под столом сидела, только б решил: так страшно было, что он сейчас уйдет. Зубы лязгали, все тело дергалось.

— Страшно, там крысы, темень, жутко мне. Боюсь я. Не закрывайте меня, пожалуйста.

— Так карцер, не санатория «Голубой залив». Крыс нет, а и были б, не тронут. Они боятся человека. Девать мне тебя, девка, некуда. Сам знаю, что страшно. В общую камеру тебя нельзя. Ты уж потерпи, утром позвоню, куда следует, скажу, чтоб и лошадь прислали: сдается мне — не дойдешь. Ты не бойся, я ведь неподалеку си-

жу, не слышно только. А то мне разговоры водить не положено, и так уж нарушаю...

Дверь снова закрылась, но мне теперь ни капельки не страшно. И вообще: как не стыдно быть такой трусихой? Откуда только такие ужасы в голову приходят? И фамилия художника Флавицкий, как можно забыть? Но ведь случилось... Всего только несколько минут назад случилось со мной, не с кем-нибудь, а со мной...

Значит, так сходят с ума. Может, я бы уже никогда больше не смогла бы так спокойно посмеиваться над дурацкими страхами, если бы дежурный не открыл двери. «Ах ты, милый человек, спас ведь. Ну спасибо! И утешил, и даже лошадь обещал попросить. Мир не без добрых людей. А ведь он даже устав нарушил, со мной разговаривая. Спасибо тебе, дядя».

Балансируя в грязи, добралась до своего узла, села и задумалась. Уж так человек устроен: спасли от смерти или сумасшествия — рад и ах как благодарен. А миновала опасность — пакостные мыслишки лезут в голову: «Мерзавцы, я, что ли, виновата, что у них для политических нет помещений? Да и какая я политическая? Это я-то могу этих «овечек» испортить чем-нибудь? Своим мировоззрением? Да я его ни одной душе не поведала. Кто вообще говорит о мировоззрениях, настроениях, отношениях? И почему никто об этом ничего не знает? Вот, скажем, моя подружка Ляля: она так и умрет, не узнав, сколько безвинных страдает. У них дома, у ее отца в кабинете, портрет Сталина висит, и шкафы вдоль стен всегда на меня наводили оторопь толстенными томами сочинений вождей революции. Интересно, что она скажет, узнав обо мне? А Олег? Испугался ли? Припишут ему связь с врагом народа, вся карьера пропала. И не помо-

жет, что не женаты. И писать, наверное, побоится. Хотя он не такой, Олег очень честный, и, скорее всего, их очень много — честных, только им приходится молчать, чтоб не погибнуть и не сойти с ума. Но даже вот дежурный, какой славный человек. А мне ну вот совсем не страшно. «Ах, ах, крысы с кошку, и почему-то белые, да «Княжна Тараканова». И почему крысы, вот идиотка, должны обязательно до горла добираться? Они вполне могут и с ног начать. Кто-то и в самом деле попискивает, но это, похоже, мыши. И я ничего не боюсь, утром за мной лошадь пришлют. Знать бы только, куда они меня повезут? И смогу ли дать знать маме? И вообще, мысли путаются; как хорошо было с Олегом, тепло, уютно; хочется чаю горячего, не обязательно даже сладкого, и ничего, если я к стенке прислонюсь, все равно пальто уже грязное, и даже кое-где дырки, и пуговиц уже нет. Плохо, если не выпустят...

Я не слышала, как за мной пришли. Очнулась уже в коридоре. Двое волокли меня под мышки, пытаюсь поставить на ноги, но я падала. Было жутко стыдно, но они волоком дотащили меня до стула. Я все прекрасно слышала, понимала, но ничего не видела и, вот позор, ног не чувствовала совсем. Один из тех двоих встал около моего стула; боком придерживал меня, а сам проверял что-то у дежурного. Шуршали бумаги.

Потрогала себя руками. Пальто скользкое, мокрое: значит, на полу лежала. Не очень, видимо, долго, всего несколько часов; ведь сказал дежурный, что утром будет «к ним» звонить, чтоб лошадь прислали.

Понемногу и свет увидела, и дышать ровнее ста-

ла, и от чужого бока отодвинулась: сама, мол, сидеть могу. Даже ногой пошевелила, вроде все в порядке. У стола стоял парень с бумагами в руках — нарочный оттуда, откуда за мной ночью не пришли на станцию. Он смотрел внимательно и сочувственно, даже дружелюбно.

— Сами пойдем или понесем? — иронически и впервые на «вы».

— Сами пойдем.

— Ну-ну.

Упала тут же у стула, даже не успев встать на ноги — их будто не было. Парень сгреб меня в охапку, попросил дежурного подбросить вещички и вынес меня на улицу! Солнце! Снег сверкал. У входа стояла лошадь, впряженная в двухместные сани. Как куль усадил он меня, сам взял вожжи, и, Господи, у лошади бубенчик зазвенел на шее. Как в кино!

С приездом!



Я знала, куда мы едем: два раза в день мимо того дома проходила по дороге в школу. Мама два раза в месяц туда на отметку ходила и иногда брала меня с собой, оставляла ждать ее на улице — на случай, если с ней что-нибудь произойдет... Мне стало весело от воспоминаний о том, как моя мама выдергивала хвостиками вату из и так уж прожженной фуфайки, одевала свою «шикарную» юбку из мешковины и стирала с губ следы помады. Ей казалось, что чем «забитее» она выглядит, тем меньше шансов угодить на север или в лагерь; пусть «те» не думают, что ей хорошо живется... Просто же так мимо этого дома она, упаси Бог, не ходила: всегда переходила на другую сторону.

В общем, мы ехали в НКВД. И опять по той же дороге, что и ночью. Без всякой надежды, но, прикинув, что терять мне нечего, я спросила:

— Гражданин начальник, а нельзя ли остановиться на минутку у этого дома?

— Зачем?

— Мать моя тут живет, она не знает, что я в городе.

Подумал. У меня стучало сердце.

— А чего ж, можно.

И завернул лошадь к дому. Вот так так! Но ставни в нашей хибаре закрыты, как и ночью, значит, мама на работе. Но я нахальничаю:

— Уж раз вы такой добрый, гражданин начальник, может, мы вещички сейчас тут и сбросим?

(Это я по его ответу надеюсь узнать о своей дальнейшей судьбе.)

Подумал. Посмотрел. Понял мою хитрость. Хмыкнул.

— Давай сгружаться. Чего зря ездить взад-вперед со шмотками. Долго тебя у нас держать не будут, подпишешь бумагу-другую — и беги к маме.

Теперь я знаю, что имеют в виду под словами «задохнуться от счастья». Вот оно, настоящее счастье! Еще страшно поверить.

А парень сообразительный, пошел в дом к хозяйке за ключом. Она пришла с ним сама. Узнала меня, схватилась за сердце. «Ну и видок у меня, должно быть!» Заплакала старуха, никак не могла ключом в замок попасть...

Ах, как хорошо дома! Пахло мамой. Тепло, уютно. Не хотелось выходить. Конвоир мой видел это. Жалея, прикрикнул, будто сердито:

— Ну, раскисла в тепле. Шевелись живо, а то к мамочке на обед опоздаешь!

Вот же, успела на себя в зеркало взглянуть. Неузнаваемое лицо! Совершенно другой человек, с новым лицом. Две глубокие морщины от носа к губам. Чудеса. И не в том дело, что рожа зеленая, грязная, обтянутая кожей. Взгляд поразил. И именно этот странный новый взгляд делал лицо неузнаваемым. А по всему пальто — застывшая на морозе грязная корка. Но все равно — я очень

счастлива. И отмоюсь, и отъемся, и вшей выведем. Может, и взгляд станет прежним.

Ах ты, черт побери, до чего хорошо жить на свете! Давно ли волоком тащили меня из карцера, а тут — и ноги заходили, и радость скачет. Даже заулыбалась своему конвоиру, но тут же смутилась: с такой ли рожей мужчине улыбаются...

Покатили. Снег скрипит и искрится на солнце, бубенчик звенит. Так хорошо, что не верится: наяву ли?

А «там» — хмурые лица, лающие голоса. На меня следует заполнить бумаги. И мне их придется подписать. «Давайте бумаги, подпишу все, что угодно, только отпустите», — у меня опять трясутся ноги и кружится голова. Стали подавать из-за перегородки бумаги по одной, но вот беда — буквы расплываются, руки дрожат, и тошнота подступила. Глотнув побольше воздуха, спросила:

— А о чем тут? Я ничего не разберу, мне нехорошо. Можно подписать не читая, не смертный же приговор?

— А хорошо бы, — буркнул злой дядька из-за перегородки. — А то — возись с каждым: одному лошадь подавай, другого в больницу вези, а третьего и пальцем не тронь. — И вдруг, озверев, видимо, от каких-то воспоминаний, заорал: — А ну, подписывай да катись отсюда, некогда мне с вами возиться.

На бумагах стояла моя фамилия и разные цифры: 10, 15 и 25. Потом мне разъяснили, что это сроки за всякие возможные провинности: 10 лет — за отлучку без разрешения за зону поселения больше чем на 5 километров, 15 — за выезд в другой город и неявку на отметку и 25 — если меня поймут «в бегах».

Но тогда мне это было глубоко безразлично.

«Хоть сто лет, хоть двести, только отпустите. Сейчас меня стошнит или опять в обморок шлепнусь». Расписалась. А встать не могу, опять ноги ватные, перед глазами все ползет. А дядька из-за перегородки орет:

— Ну что расселась, барыня? Делать нечего? А здесь люди работают. Или что непонятно? Приходить на отметку раз в две недели, число в удостоверении проставлено.

Но, видя, что я не двигаюсь, сказал официальным тоном:

— Гражданка, вы свободны.

Могучим усилием воли «свободный» гражданин Союза Советских Социалистических Республик, обязанный ходить на отметку в спецкомендатуру НКВД каждые две недели, поднялся на ноги и, не сделав и шага, рухнул к ногам освободителей...

Очухалась на улице от звона бубенчика: те же сани и тот же славный парень везли меня домой. Вместе с хозяйкой пришлось им внести меня в дом, а хозяйке и раздевать пришлось: боты сняла, от жалости поскуливая, пальто размотала и на кровать уложила. И обещала сейчас же чаю горячего, блинов и еще три короба угощений.

Сквозь сон я услышала какой-то заячий вскрик, потом что-то тяжелое навалилось на меня, принялось душить, обнимать: это была мама.

Она сначала испугалась — показалось, что воры забрались в дом, но:

— Ах, как хорошо, что это ты! Я уже отчаялась тебя увидеть. Ведь я получила от Олега письмо, осторожное, умное, я поняла, что тебя арестовали, уже ведь три месяца скоро будет, как от тебя ни слуху ни духу. На кого же ты похожа! А кто этот Олег?

Ой, до чего же хорошо дома! Мы, конечно, малость всплакнули от счастья. Ведь могло быть намного хуже, вот про Леву по сей день ничего не известно. А Ирочка как заболела в дороге, так и по сей день не оправилась, умопомрачение у нее. А как я себя чувствую?

— Хорошо, прекрасно, лучше быть не может. Вот только если бы ты, мамуля, дала бы мне кусочек хлебца и горячего чаю, то умопомрачение мне грозить не будет.

— Ой, Боже мой, а у меня даже обеда нет, я ведь просто так пришла, вдруг письмо от тебя или о тебе; каждый день с работы бегала в перерыв.

Нашелся и хлеб, и масло, и ах какой вкусный горячий чай, по-настоящему горячий, впервые почти за три месяца.

Мама торопилась на работу, но успела и отругать меня:

— Зачем сидела там? Писала ведь, что арестовали многих. Умные сами приехали, а тебе вот Питер нужен, без него ты уже жить не можешь. Так ты мне и не сказала, кто этот Олег? Может, ты вообще из-за него там сидела? А на кого похожа стала: пугало огородное, кожа серо-зеленая, глаза как у волка.

— А я волк и есть. И если ты сейчас не перестанешь меня донимать — загрызу. Ой, мам, до чего хорошо дома! Беги скорее на работу, я подготовлюсь к приему второй порции ругательств. А какие тут институты поблизости?

— Батюшки родимые! Ты посмотри на себя! О чем ты говоришь, кто тебя пустит?! Когда ты еще в себя придешь?

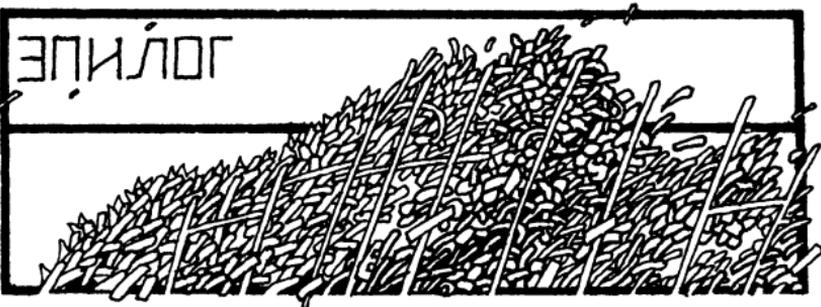
— Ха-ха, мамуля, у меня теперь такой иммунитет, что тебе и не снилось. Вернешься вечером, я тебе спляшу.

Вечером я, правда, не плясала, но, пока продолжались всякие хлопоты по организации ужина, подогреву воды («Тебя же в кровать пустить нельзя такую, отмывать месяц придется!»), я своей хоть и зеленой, но весьма довольной рожей широко ухмылялась. И давала себя кормить, мыть, слегка волосы подравнивать, ибо: «Что это за новая мода у тебя на голове?! Это в Ленинграде такие прически? Или тебе вырвали волосы?»

— Сама, мамуля, самообслуживание, самообгрызание, зубками, зубками...

Так, вполне благополучно, закончилось мое путешествие из Петербурга, увы... не в Москву.

ЭПИЛОГ



Поправилась я быстро. Через несколько дней домашнее хозяйство перешло в мои руки, а еще через неделю я уже и на базар сама ходила. Маме доставалось крепко: с раннего утра на работе, идти туда далеко. Морозы в ту зиму 1953 года стояли даже для Сибири очень сильные. Платили ей гроши. Но она как-то сводила концы с концами: вязала на заказ, перепродавала старые вещи, да редкие посылки от тети спасали. Мне очень хотелось быть полезной.

Канск сильно изменился за эти годы. За хлебом уже не приходилось стоять в длинных очередях; белого, правда, на всех не хватало, но у мамы был блат в хлебном отделе, ей оставляли под прилавком. На базаре продавали мясо. Мама хвасталась, что, когда весной стает снег, я ахну, найдя кое-где настоящий асфальт. За речку Кан, на текстильный комбинат, ходил рейсовый автобус. Ссылных стало больше.

Я старалась к мамину приходу сварить что-нибудь вкусное. Научилась даже торговаться на базаре, правда краснея и заикаясь, иногда специально и довольно долго готовясь к диалогу с мясником.

«Разногласия на идеологической почве» у нас с мамой обнаружили сразу же. Атмосфера в нашей хибаре иногда раскалялась докрасна.

Наконец-то я все узнала про папу. Он отсидел ровно десять лет, как один день. Год назад, в январе 1952 года, его выпустили из лагеря, но провезли через Канск, не дав свидания с мамой; она только потом об этом узнала. Живет он в лесу, в нескольких километрах от Дзержинска. Работает там сторожем на лесозаготовках: караулит в лесу дрова... Мама с ним виделась, но это было очень сложно. Сначала надо идти за разрешением в НКВД, а для нее это сущее наказание. Потом выходишь на тракт ловить попутную машину: транспорта туда другого нет. Связь с папой тоже плохая. Списать очень трудно, так как рабочие, которые приносили почту к нему в лес, часто забывали отдать ему письма и его письма к ней забывали бросить в ящик. Да и встретиться можно было только в Дзержинске, ведь не тащиться же ей к нему в землянку посреди леса! А ему тоже требовалось разрешение на отлучку из лесу. В общем, сложно.

— Очень изменился папа?

— Старик. Белый, как лунь. Но ничего, бодрый и как будто здоров.

— Как вы встретились, плакали?

— Сначала поплакали, а потом и говорить не о чем стало. Столько лет прошло. Он все время о вас, о сестре да тебе, спрашивал.

— А про лагерь он тебе рассказывал?

— Нет, да я и не спрашивала. Что о лагере рассказывать? Как подышают?

— Так он-то выжил, ему, значит, есть что рассказать.

— А он всегда был невозмутимый, ничего к сердцу близко не принимал.

— Поэтому, думаешь, выжил?

— Не знаю. Но он сказал, что и били его не раз, и голодал страшно, и замерзал (ноги у него отморожены), и работал тяжело, а целых десять лет продержался. Но он горевал, что семья распалась, беспокоился о тебе, переживал, все боялся, чтоб тебя не арестовали. Он-то помнит тебя маленькую, худенькую. Тебе ведь всего восемь лет было, вот он и горевал, что ты не выдержишь.

— А мне можно к нему поехать?

— Наверно. Туда дают разрешения. Но с ним списаться надо, это ведь несколько недель. Да ты об этом пока не думай, у самой в чем душа держится.

— Сколько же отец будет жить в этом лесу?

— Не знаю. Я подаю заявления, и он подает, просим разрешения жить вместе в Канске. Но то отказ, то вообще не отвечают.

— Ну а разрешат, тогда что — «Спасибо родной партии и правительству»?

— Знаешь, ты не будь слишком умной. Я тебе вчера вечером делала знаки, когда ты при чужих людях начала вдруг умничать. Каждый из них может быть стукачом.

— Мам, окстись, это же твои друзья! Сами-то они кто? Те же ссыльные. Так на кой черт им на своих стучать?

— Ты ребенок. Да если хоть какой-то шанс есть выбраться отсюда, так и мать родную продадут.

— Нельзя так думать о людях!

— Ах, скажите, а кто этих людей спрашивает, хотят ли они быть стукачами?

— Ну, знаешь ли. Как можно заставить быть стукачом, если это претит твоей натуре, если ни за

какие блага в мире ты не станешь стучать на своих друзей?

— Не думай, что ты честнее всех. Тоже мне героиня. Если бы ты, прежде чем восклицать: «Ни за какие блага в мире!», чуть-чуть подумала, то, может, и поняла бы: бывает, что человек не находит сил отказаться.

— Но, мам, милая, ну допусти, что меня вызвали и велют быть ихним стукачом. Ты только представь: вечером к нам приходят друзья, я завожу нарочно опасный разговор, а утром бегу докладывать в НКВД. Так, что ли? Не смейся, мамуля. Да если бы меня четвертовать стали, я бы не пошла на такое, уж легче руки на себя наложить.

У матери тряслись губы.

— Мамуля, что случилось? Я опять что-нибудь не так сказала?

— Разве ты можешь что-нибудь сказать не так? Ты всегда считала, что ты очень умная, что тебе совершенно все в жизни понятно. И могу тебе сказать, что кончится это для тебя, да и для всех нас, плачевно. В таких вопросах мало что от человека зависит. Этого ты, даже после того, что с тобой произошло, понять не хочешь. Ну что ты, например, сделаешь, когда тебя вызывают и велют собираться на Крайний Север? А у тебя на руках двое маленьких детей. Хорошо, у меня тогда были шелковые чулки и удалось откупиться. А представь себе, что такую же одинокую, беспомощную женщину с маленькими детьми вызывают и говорят: «Север, или работайте для нас». Она сто раз подумает, прежде чем отказаться. Стоит ли добровольно уехать умирать с детьми в тундру, когда есть шанс выжить?

— Ну?

— Что «ну»? Как тут отвертеться? Причин для отказа не существует. «— Вы не хотите с нами

сотрудничать? — Что вы, хочу, но у меня нет никаких знакомых, я никого не вижу, у меня маленькие дети, я полы мою. — А мы вас познакомим. И повод найдем, и нужных людей укажем. — Я вся больная, у меня печень, желудок больной, и я ничего в политике не понимаю, лучше найдите кого-нибудь другого. — Значит, вы отказываетесь сотрудничать с нами? Вы отказываетесь стоять на страже социалистической законности? Не хотите проявить бдительность? Советуем вам подумать. Завтра придете в это же время».

Я слушала разинув рот.

— Mam, а ты откуда знаешь?

— А ты как думаешь, я это в кино видела? На своей шкуре испытала. В Дзержинске. Помнишь, мальчишка один тебя дразнил «латышка, ссыльная»? Так это был сын того офицера, к которому меня таскали. И ты, конечно, не помнишь, как Муся, с которой мы тогда вместе жили (кстати, она очень удачно вышла замуж), как эта Муся меня отхаживала после обмороков. И если бы не вы — две крошки, может быть, я на себя тогда руки наложила бы. Но выкрутилась.

— Ага, видишь, значит, выкрутиться-то можно?

— Да, а могли бы и расстрелять: не всегда так везет, да и не всяк решится. Помнишь, мы тогда от тети из Палестины получили посылку? В Дзержинске? Так вот этот офицер за почти все содержимое той посылки освободил меня от стукачества, взял расписку о «неразглашении государственной тайны» да еще помог нам тогда переехать в Канск, чтоб уж и с глаз долой. Счастье, что человек еще порядочный попался, а мог бы за взятку посадить.

— Порядочный?! Да его самого за это следовало расстрелять. Mam, ты подумай только: офицер

НКВД — и берет взятку за освобождение от стукачества. Да это же анекдот, ну скажи сама, разве нет?

— Вот-вот, ты еще расскажи кому-нибудь этот смешной анекдот... У тебя всегда мозги набекрень. А я ему по гроб жизни благодарна, что такой грех с души помог снять.

— Значит, на твое место попал другой. Интересно, кто это был?

— Ага, поняла, значит. Поэтому сиди и держи язык за зубами.

— Поняла. То есть если бы тогда не тетина посылка, ты была бы сейчас уже стукач-стахановец. Или если бы все же отказалась, наши белые косточки валялись бы в тундре, обглоданные волками...

— Выходит, так. Но я тебя умоляю — молчи. И, пожалуйста, никогда не напоминай мне об этом. И учти, что на каждые десять ссыльных есть свой десятник. Это не выдумки. Это вполне официально. Он, так сказать, ответственен за их «сохранность», проверяет, значит, все ли на месте, чем дышат, не собирается ли кто сбежать. Уж наверняка, если его спросят, чем дышит такая особа, как ты, он не станет скрывать твоих настроений.

— А у меня нет никаких настроений. Какие же это настроения? Я просто стала кое-что понимать. Но впрочем, грош мне цена за то, что поняла я так поздно, да и то только потому, что это меня лично коснулось. Как с этим дальше жить, неизвестно... Ты такая мудрая, разумная, вот и объясни мне, на чем все это держится? На стукачах, десятниках? Или какие там еще должности существуют? И если бы не они, эти стражи порядка, то что, все бы развалилось?

— Не знаю. Не спрашивай, ради Бога, и не думай.

- Но, мам, скажи, в Латвии тоже так было?
- Что так было?
- Ну, ссылные, стукачи, десятники?
- Откуда я знаю! Мы же там не в ссылке были.
- А куда ссылали провинившихся?
- Не знаю. И кроме того, уж не считаешь ли ты нас провинившимися?
- Вот-вот, значит, мы без вины виноватые? А ты шипишь на меня: «Не спрашивай!» Значит, жили в Латвии без ссылки?
- Может, не за что ссылать было...
- А нас было за что?
- Мы — социально опасные элементы.
- Для кого опасные?
- Для общества.
- Какого?
- Социалистического.
- Кто тебе это сказал?
- Ну, во-первых, так нам сказали при аресте, двенадцать лет тому назад, а кроме того, потрудись прочитать, что написано в твоём удостоверении: точно то же самое.
- А для латышского, — кстати, какой там был строй? — для латышского общества мы не были опасными?
- Парламентский, демократический. Выходит, не были опасными. Наоборот, были весьма уважаемы.
- Господи Боже мой! Для демократического — не опасны, для социалистического — преступники. Ну скажи, мам, есть ли в этом логика?
- Не ищи логики. И оставь меня в покое. Я устала от твоих глупостей.
- Ладно. Один только последний вопрос: ты читаешь газеты?
- Нет. Кто же их читает?!

— Почему?

— А ты читаешь газеты?

— Нет.

— Почему? Тебе девятнадцать лет, ты интеллигентная девушка... А кстати, ты знаешь про дело врачей?

— Каких врачей?

— Неужели ничего не слыхала? Ну конечно, это уже после твоего ареста было. Это такой ужас! Всех крупных врачей — евреев по национальности — арестовали, посадили и обвинили во вредительстве, будто они отравили уже многих и готовили еще целый ряд отравлений...

— Откуда ты все это знаешь, с базара?

— Глупая, из газет. И по радио несколько раз передавали. А уж эту газету страшно было в руки взять. У меня эти номера дома. Я принесла их из техникума: там боялась читать, чтоб не сказали: «Никогда не читает, а тут заинтересовалась», так я их просто в сумку положила и дома читала. Волосы дыбом встают: сплошные еврейские фамилии. Трудно представить, к чему это может привести, но раз уж и в газетах и по радио только об этом говорят — поверь мне, готовится что-нибудь серьезное. Да ты почитай сама, я тебе найду. Только ради Бога, если вечером кто-нибудь зайдет, не заводи разговора на эту тему, это теперь опасно.

— Ладно, клянусь молчать, только найди эти страшные газеты. Mam, а ты, кстати, не знаешь, почему такую траурную музыку передают? Я хотела время узнать по радио, а там — сплошной Чайковский, и от финала Шестой без единого слова перешли к «Героической» Бетховена. Почему?

— Сталин болен. Еще утром объявили по радио.

— Не может быть, мамулечка, ура! Да что ты на

меня с таким ужасом смотришь? О, раз такая музыка в его честь, значит — дело серьезное. Да, может, он давно уже подох, но еще не принято решение по этому вопросу, вот музыку и дают. О, мама, чувствует мое сердце, что дело серьезно.

— Дочь, заклинаю тебя, будь благоразумной! Здесь у стен есть уши. За такие речи — расстрел, не сомневайся! Ты играешь со смертью. Я не прошу лить слезы, но радоваться особенно тоже нечему: может, на смену придет другой, еще пострашнее.

— Я буду умненькой-благоразумненькой, я буду ходить с наипостнейшей рожей, я даже Джеку не скажу ни единого «идиотского» слова, но, мам, кишками, моими собственными кишками, имею я право искренне радоваться?

— Нет. Неизвестно, что нас ждет. И не хорони раньше времени, это может быть какой-нибудь трюк.

— Ну не-ет, такого не бывает. В таком деле какие трюки? Побоялись бы, пока ОН жив. А помер, кто уж грехи вспоминать будет. Что ты, наоборот, мавзолей построят шикарнее ленинского, с искусственным озоном и позолоченным унитазом.

— Откуда в тебе столько злобы? Как можешь ты так непочтительно говорить о мертвом? Если он мертв...

— А из-за него сколько мертвых? Добрых, умных, образованных... Тысячи, сотни тысяч, может, миллионы загубленных жизней, а кто о них отозвался почтительно? Шиш, дерьмом только поливают. Мало их здесь, в Сибири?

— Больше ты слова от меня не услышишь. Но могу тебе заявить, что мне очень не нравится твоя озлобленность. Не знаю, результат ли это твоей

«свободной» жизни или влияние ареста? Но как бы то ни было, уверяю тебя, тебе будет очень трудно жить.

— Ну и пусть: чем трудней, тем лучше.

— Не понимаю.

— Зато я начала понимать. И на чем все у нас держится, и как люди живут. Каково другим-то людям? Не трудно?

— Трудно. Но по другим причинам: надо кормить себя, семью, одевать тоже что-то надо, печь тоже топить чем-то надо. И не лезут они в высокие материи. И тебе бы не мешало подумать о том, как ты жить собираешься, что делать-то будешь.

— Ладно, мам, не сердись, я ведь всего неделю дома. Что-нибудь придумаю.

— Я не сержусь. Я очень боюсь за тебя.

Непривычно брать в руки газету, еще непривычнее внимательно в нее вчитываться. Несколько раз подряд прочитала я про этих подлых «шпионов и убийц», но так и не поняла, что же они в самом деле сделали, что собирались сделать, на кого работали, чьими наймитами были. Во всяком случае, странно и страшно было в короткой статье четыре раза читать слово «еврейский», два раза «сионист», и все это — вперемежку с «буржуазными националистами», «гнусными выродками», «террористами», «бандой человекообразных зверей», «омерзительными гадинами», «изменниками Родины». От обилия еврейских фамилий в самом деле становилось жутко.

В той же статье говорилось об учении бессмертного Ленина и отца народов Сталина. Это они учат, что чем нам, нашей Родине лучше, тем острее

борьба врагов народа. Наверное, мама права. Я ничего в жизни не понимаю. Какая борьба? Разве мало у нас бдительности? Мало? Когда даже я — преступник? Может, эти врачи так же «путем вредительского лечения сокращали жизнь активным деятелям Советского Союза», как сотни тех, совершенно невинных, которых я встретила в тюрьмах, или таких «преступников», как мой отец? А для чего об этом пишут? Зачем «разоблачают»? Для страха, трепета? Так ведь и так все боятся. Только на мою маму стоит взглянуть.

А я лучше? Разве не от страха я не рассказала Олегу о себе? Даже самому близкому, самому любимому человеку побоялась рассказать. И о чем? О том, что я ни в чем не виновата? Что мои родные ни в чем не виноваты? А почему побоялась рассказать? Потому что опасалась, что он донесет? Нет, неправда, этого я не думала, просто не хотела отягощать его совесть. Понимала, что он обязан донести на меня, но не сделает этого, значит — запятнает свою совесть. Совесть? Это ли совесть? Ах ты черт побери, да почему он обязан доносить? Кому? О чем? О том, что я жива, что я не в Сибири, где неизвестно почему мне положено быть? Значит, я оберегала его совесть. Любя. Не доверяя. А бывает любовь без доверия? А он разве не понимал, что со мной не все ладно? Он мог бы из меня вытрясти все. Если бы я ему доверилась, я бы еще больше его любила.

Так горько стало, так обидно, что слезы сами закапали на эту страшную газету. Как мне теперь жить? Зачем вдруг эта трещина в моем чувстве к Олегу? И какое будущее меня ждет? Ой-ё-ёй, как горько и больно. А тут еще эта музыка из репродуктора, такая мрачная, такая погребальная, что мне казалось: она — по мне.

Сколько же можно плакать? Фу, какая рожа: нос распух, глаза красные, губы шлепают. «Эта музыка по мне?» Шиш вам. Я жить хочу. Кому от того лучше станет, если я на себя руки наложу? Как же остальные люди живут? Одна ли я вдруг поняла весь ужас, все эти несправедливости? Как же живут эти умные, взрослые люди? А как живут все те, что творят эти несправедливости? Вот пускай они на себя руки и накладывают, а не порядочные люди. Они — убийцы. Я для того буду жить, чтоб посмотреть, как эти убийцы стреляться будут, благо оружие в их руках.

Уговорила себя. Стало легче. Принялась снова за газеты. Нашла в другом номере «Правды» заметку о спектакле Московского театра юного зрителя о смелом пионере Павлике Морозове, который доносит на собственного отца и того как опасного врага изымают из деревни, то есть ссылают или расстреливают. «Из зала — гром рукоплесканий, и восхищенные взоры юных зрителей устремлены на Павлика: он близок разволнованной детской душе». Как же так? Сын доносит на отца, того расстреливают, веря доносу ребенка: ведь Павлику двенадцать лет. «Разволнованных детей» учат доносить на родителей...

— Просыпайся, Сталин умер! Спит как сурок, накрывшись газетами. Лучше бы позаботилась о траурном флажке.

— Поздравляю, мамулечка, но если это неправда, я донесу на тебя и тебя расстреляют.

— Боже мой, как ты можешь сейчас дурачиться?

— Ты о чем? Тебе что, жалко Сталина?

— Ты ничего не понимаешь. Теперь «они» могут сказать все что угодно, даже что это евреи умерт-

вили Сталина. А уж тогда всех перестреляют без разбора, и больших и маленьких, а ссыльных — в первую очередь.

— Могут. «Они» все могут. Но ты не плачь. Ты посмотри на меня — нос распух, глаза красные?

— Вижу. С чего бы это?

— Рыдала. Рыдала о своей поруганной жизни. Дура. Сплошная дура. Не рыдать надо — кусаться и царапаться. От слез только рожа противная делается, а толку нет... Как ты узнала, что Сталин ноги протянул?

— Сообщили по радио. Но давай договоримся раз и навсегда: если ты не хочешь загнать меня раньше времени в могилу — перестань бравировать. Веди себя как можно тише — так больше шансов выжить. Обещай мне.

— Клянусь тебе, мать, светлым именем пионера Павлика Морозова вести себя как можно тише и стараться выжить... Но давай ужинать, не умирать же из солидарности. Давай в честь праздника сварим какао. И предлагаю зажарить глазунью — по целому яйцу на брата. Я чувствую приступ небывалого голода и подъем небывалых душевных сил. Ура, за Родину, за Сталина!

Бедная моя мать: и смех и слезы. Надо меня ругать, а ей смешно, и никак ей не удастся призвать меня к порядку. Она закатывает глаза, всплескивает руками и призывает Бога в свидетели:

— За что ты меня мучаешь?

— Все. Завязала. «Кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит слово, тот и съест...»

За глазуньей и какао мама рассказывала, как у них в техникуме после сообщения о смерти Сталина все рыдали, не стесняясь друг друга. Даже мужчины.

— А Машка-маятник?

— Тоже.

— «Кошка сдохла — хвост облез», — пропела я. — Мам, а можно мне прийти к вам в техникум, посмотреть на эту Машку?

— Конечно. Но смотреть нечего: большая, добрая деревенская девка, прекрасно моет полы. Значительно лучше меня.

— Она еще ссыльная?

— Я же тебе рассказывала.

— Да. Я помню.

(Эта Маша когда-то работала уборщицей в колхозном клубе, в деревне где-то в Белоруссии. Однажды по неосторожности, моя пол, своим могучим задом задела постамент, на котором стоял гипсовый бюст Сталина. Тот упал и разбился. Машу судила «тройка». Видимо, учтя ее габариты, дали минимальный срок — всего пять лет, поражение в правах и вечную ссылку. Маша исправно отсидела свои пять лет. Ничего, в общем, не поняла, осталась доброй, потеряла, правда, в весе. Часто беременела и в последний раз угодила в больницу с заражением: «самодельный аборт с применением маятника от часов-ходиков». Отсюда и прозвище — Маятник. Это мне рассказала мама.)

— К нам звонили из райкома с директивой: с завтрашнего дня всем рабочим и служащим на улице и на работе приказано носить на рукаве черные траурные повязки. Где бы найти кусочек черной ткани?

— У меня есть черные бумазейные штаны — «для особых случаев». Готова пожертвовать. Молчу, молчу. «Кошка сдохла...» Но я тебе сейчас достану сии штаны.

— Спасибо.

Это было 5 марта 1953 года.

На следующий день мама не пришла на обед, и я вдруг страшно забеспокоилась. Честно говоря, хоть я и хорохорилась перед ней, страху она на меня все-таки нагнала своими предсказаниями. «Господи, уж не началось ли? Уж не стали ли хватать евреев прямо на улице?» Я решила подождать до вечера, а потом пойти ее искать. Но вечером она пришла вовремя.

— Мам, что стряслось?

— В милицию забрали: я не заметила, как повязка из твоих чертовых штанов съехала с рукава, вот и забрали: не в трауре, значит.

???

— Да, да, и, пожалуйста, не смотри на меня таким зверем и будь добра, помни про свою дурацкую кошку с облезлым хвостом.

Сожжение



А еще через несколько дней моя мама устроила мне «концерт» со слезами, мольбами, упреками. Было воскресенье. С утра она подозрительно долго молчала, что ей совсем несвойственно. Потом принялась демонстративно прохаживаться перед моим носом, хотя я вовсе не «мешалась на дороге». Дышала шумно. Села заворачивать свою самокрутку из махорки прямо передо мной. И спичками нервно зачиркала.

И о чем я только думала? Все ведь видела, но так глубоко задумалась, что поздно сориентировалась. В воздухе пахло грозой.

— Мам, ты что?

Молчит. Губы многозначительно поджаты. «Выражение» на лице.

— Плохие новости?

Молчит. Значит, дело во мне. Силюсь припомнить. Но будто нет за мной грехов. Весь запал из меня вроде вышел. Веду себя тихо. Никуда не хожу. Правда, уже скоро две недели, как я дома, а пользы от меня никакой. Не принесут же мне работу на блюдечке с голубой каемочкой. Но не думаю, что в этом причина маминого сопения.

Но ее скоро прорвало:

— Тебе мало того, что с тобой уже сделали? Посмотри на себя: волком смотришь, клыки скоро вырастут. Тебе мало того, что мы торчим в этой распроклятой Сибири двенадцать лет и конца-краю не видно? Ты хочешь, чтобы нас всех расстреляли?

Много разного высказала мать за все мое непослушание начиная с пеленок. И что многого я могла избежать, если бы не была столь твердолобой, а слушалась бы ее советов. Ведь писала она мне, чтоб я немедленно приехала. Почему другие дети, ничуть не хуже меня, а даже много лучше, не попадают в тюрьмы, не мотаются по этапам, не лезут на рожон и не заставляют своих бедных матерей дрожать от страха каждый день? Она, мол, каждый день в ужасе приближается к дому, боясь не найти меня. И это точно случится, если я не образумлюсь. И на этот раз мне так легко не отделаться, если меня арестуют.

— И нечего улыбаться с таким умным видом. Ты думаешь, что тебе уже ничего не страшно, что ты уже все испытала, что теперь себе можно позволять всякие глупости? Я уверена, что тебя из-за твоей же глупости в Ленинграде сцапали. Наверное, кому-нибудь похвасталась, что знала когда-то французский язык, или училась балету и музыке, или вроде этого что-нибудь болтала.

— Не сердись. Я поняла, что случилось. Не бойся. Хуже не будет.

А случилось вот что. Мать нашла мои записки, мое «Путешествие из Петербурга...». Я не могла отказать себе в удовольствии записать свои впечатления от дороги. Мама сама мне подарила ту черную тетрадку. А теперь, видимо, она ее обнаружила. И прочла. И ужаснулась. Но не тому, чему я была свидетелем и действующим лицом, а тому, что коли

она нашла такое, так оно и другим может попасть в руки. А тогда уж точно расстреляют.

Она теперь спать не будет. Будет рыскать по всему дому и в подполье. Отдать тетрадку некому...

А мать всхлипывает и ворошит дрова в печке.

Тетрадка отсырела в углу за репродуктором, где я ее прятала: не хотела гореть. Мама, суетясь и весело поблескивая мокрыми глазами, предложила испечь драники — мои любимые оладьи из тертой картошки. Она была довольна моим послушанием...

Я всегда любила смотреть на огонь, недаром Олег прозвал меня огнепоклонницей. А тут тлела история, которую мне очень хотелось когда-нибудь рассказать людям. Мне очень хотелось ее запомнить. Я смотрела на огонь и убеждала себя, что такое не забудется, что никакие события не сотрут из памяти этот путь, куда я вступила воробьем, а вышла клыкастым волком. И смутная надежда тле-ла, что «это» не навечно: такое не может жить, не должно жить вечно. Противоестественному придет конец.

И наконец, есть же где-то места на земле, где за правду не расстреливают...

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ. ДЕТСТВО	4
ДЕЙСТВИЕ I. СИБИРЬ	16
Как я потеряла веру в Бога	32
Дзержинск	43
Канск	61
ДЕЙСТВИЕ II. МОСКВА — КАУНАС	
Москва	90
Каунас	95
ДЕЙСТВИЕ III. ЛЕНИНГРАД	112
ДЕЙСТВИЕ IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В СИБИРЬ	
Арест	166
Страшный дом	171
Дорога, дорога...	182
Сюрприз	200
Возле дома родного	203
Карцер	207
С приездом!	213
ЭПИЛОГ	220
Сожжение	235

Дарел С.
Д 20 Воробей на снегу: Картины жизни в
четырёх действиях с прологом и эпи-
логом/Худож. П. Перевезенцев.— М.:
СП «Слово», 1992.— 238 с., ил.

ISBN 5-85050-311-0

Детство Сильвы Дарел прошло в довоенной Латвии, в состоятельной семье. Оно оборвалось с оккупацией республики советскими войсками. Через год вся семья была сослана в Сибирь, где отца вскоре арестовали. Мать с двумя малолетними дочерьми оказалась в колхозе в Восточной Сибири. Жизнь в деревне, попытки упрямой девочки пробиться к привычной городской жизни, учеба в Ленинграде и снова обвал — арест на третьем курсе института — об этой своей жизни и рассказала Сильва Дарел в книге «Воробей на снегу». Книга была переведена на многие языки. И вот теперь — к радости автора, живущего ныне в Англии, — впервые выходит на русском языке, на котором и была написана.

Д 4702010201—057 Без объявл.
M128(03)—92

ББК 84Р6

СИЛЬВА ДАРЕЛ

ВОРОБЕЙ НА СНЕГУ

Редактор *К. Н. Озерова*
Художественный редактор *В. В. Медведев*
Технический редактор *В. Ф. Нефедова*
Корректоры
Т. И. Томашевская и Г. И. Киселева

Сдано в набор 17.12.91. Подписано в печать 22.05.92. Формат 70×100^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,75. Усл. кр.-отт. 10,19. Уч.-изд. л. 8,91. Тираж 5000 экз. Заказ № 10.

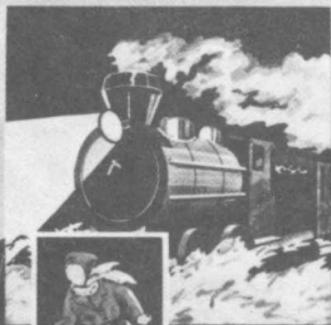
СП «Слово», 119034, Москва, Остоженка, 41

Книжная фабрика № 1 Министерства печати и информации Российской Федерации. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. Тевосьяна, 25.

Sylva Darel
**EIN
SPATZ
IM
SCHNEE**
Ullstein



A · S P A R R O W
I N · T H E · S N O W



S Y L V A · D A R E L

—シベリア流刑地の少女の手記—

シルヴァ・ダレル 佐藤高子訳



Губокоуважаемая госпожа Эльдар!

Я прочитала Вашу повесть „Воробей на снегу“, и она превзошла на меня очень хорошее впечатление. Это очень меткая, искренняя, точная вещь без претензий, горькая и в то же время грезывающе человечная. Замирающая гравида беронид.

Желаю Вам всего самого доброго
Б. Окуджава

29. 12. 89

P.S. С прошедшими Новыми годами.

at Libris

